

Юрий Сушко

Клан Чеховых

кумиры Кремля и Рейха



Биографии великих
Неожиданный ракурс

Юрий Михайлович Сушко
Клан Чеховых: кумиры
Кремля и Рейха
Серия «Биографии великих.
Неожиданный ракурс»

Текст предоставлен правообладателем.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3088995

Сушко Ю. М. Клан Чеховых : кумиры Кремля и Рейха: Эксмо; Москва;

2012

ISBN 978-5-699-55523-9

Аннотация

Если бы вся изложенная здесь история родственников Антона Павловича Чехова не была бы правдой, то ее впору было бы принять за нелепый и кощунственный вымысел.

У великого русского писателя, создателя бессмертного «Вишневого сада», драматичного «Дяди Вани» и милой, до слез чувственной «Каштанки» было множество родственников, у каждого из которых сложилась необыкновенная, яркая судьба. Например, жена племянника Чехова, актриса Ольга Константиновна, была любимицей Третьего рейха, дружила с Геббельсом, Круппом, Евой Браун и многими другими партийными бонзами и в то же время была агентом

советской разведки. Михаил Чехов, сын старшего брата Антона Павловича, создал в США актерскую школу, взрастившую таких голливудских звезд, как Мэрилин Монро, Энтони Куинн, Клинт Иствуд... А начался этот необыкновенно талантливый клан Чеховых с Антона Павловича, скромного и малоприметного уездного врача...

Содержание

Берлин, ноябрь 1940 года	7
Москва, март 1892 года	17
Москва, весна 1913 года	27
Петербург – Москва, 1914-й и другие годы	37
Москва, 1904 и 1914 годы	45
Москва, 1918 год	65
Москва, начало XX века	74
Москва, 1918 год	78
Москва – Берлин, 1921 год	85
Конец ознакомительного фрагмента.	93

Юрий Сушко

Клан Чеховых: кумиры Кремля и Рейха

Слезы текли по лицу. Он думал о том, что вот он достиг всего, что было доступно человеку в его положении, он веровал, но всё же не всё было ясно, чего-то еще недоставало, не хотелось умирать; и все еще казалось, что нет у него чего-то самого важного, о чем смутно мечталось когда-то, и в настоящем волнует всё та же надежда на будущее...

А.П.Чехов. Архиерей

...Тихий ангел пролетел. Такая редкая минута для безмятежных раздумий и вероятных откровений... Вроде бы не обращая внимания на сидящего в кресле Куприна, Антон Павлович глядел на сад, на дальние кусты, тяжелые от дождя, и, словно про себя, говорил медленно и глухо:

– При мне здесь посажено каждое дерево... А прежде здесь был пустырь, нелепые овраги, все в камнях и чертополохах. Значит, можно и такую дичь превратить в красоту. Ведь климат тоже немножко в моей власти...

Но, не закончив фразы, вдруг заторопился, принялся извиняться, прощаться с гостем: «Простите, Александр Иванович, много дел. Заглядывайте завтра...», и ушел в дом.

Оставшись один, сел за стол, положил перед собой рукопись последнего варианта пьесы и без сожаления вычеркнул заключительные слова монолога Лопухина: «Сад ваш страшен, и когда вечером или ночью проходишь по саду, ... кажется, вишневые деревья видят во сне то, что было сто, двести лет назад, и тяжелые видения томят их...» Потом поверх вымаранных строк мелким, аккуратным почерком вписал слова, то ли услышанные, то ли привидевшиеся ему только что там, на террасе:

«...Но ведь может случиться, что на своей одной десяatine он займется хозяйством, и тогда ваш вишневый сад станет счастливым, богатым, роскошным...»

Берлин, ноябрь 1940 года

– ...А вот теперь представь, моя дорогая Ева, 1897 год, жаркий июльский день... Впрочем, прости, что я говорю?! – рассмеялась Ольга Чехова. – Как ты можешь это представить, если тебя на свете тогда еще не было. Но я все-таки надеюсь на твою фантазию и воображение... Итак, старый армянский город Александрополь. Вокруг горы... Взрослые слишком заняты гостями. Нянька Мария куда-то отлучилась. В усадьбу украдкой проникает хищный шакал, выхватывает из колыбели трехмесячного ребенка в пеленках и – ныряет в можжевеловые кусты. Если бы не верный такс Фромм, поднявший тревогу и отважно бросившийся в погоню, я не сидела бы сейчас рядом с тобой, дорогая, и не пересказывала бы это душещипательное семейное предание...

– И мир не узнал бы выдающейся актрисы Олли Чеховой, – сочувственно вздохнув, подхватила Ева Браун¹, – государственной актрисы великого Рейха. Даже представить страшно... А может быть, благодаря тому шакалу ты стала бы Маугли?..

– Кто знает... А может, в лесу мне было бы гораздо лучше, чем в доме моего отца. Он же был настоящим диктатором.

¹ Браун (Гитлер) Ева Анна Паула (1912–1945) – жена А.Гитлера. Личный секретарь фюрера. 30 апреля 1945 г. покончила жизнь самоубийством вместе с мужем.

– Правда? – заинтересовалась Ева. – А кем он работал?

– Инженером-путейцем. Занимал очень крупные посты в российском царском правительстве, строил какие-то туннели на Кавказе...

– А мой, – нетерпеливо перебила Ева, – работал простым школьным учителем. Но тоже был деспотом. Представь, каждый вечер он ровно в десять выключал свет во всем доме – и все должны были отправляться спать. Потом обходил наши комнаты и проверял, спим ли мы или читаем, или, не дай Бог, болтаем между собой. Ужас...

– Знакомо, Ева. Но всё это можно просто объяснить: мой папá – железнодорожник, для которых главное – точное расписание движения поездов; твой – учитель, для которого также свято расписание, но только уроков, ну и распорядок дня...

Дамы дружили между собой уже более пяти лет. Познакомились совершенно случайно летом 1935 года в мюнхенской опере. В тот вечер была премьера «Тристана и Изольды» Вагнера. Ольга Чехова обратила внимание на соседку, довольно симпатичную молодую и грустную дамочку, которая не отрывала глаз от сцены, где разыгрывалась душещипательная история несчастной любви французского рыцаря и жены короля. Коллизии трагедии, видимо, настолько серьезно затрагивали чувства женщины, что она время от времени прикладывала к глазам кружевной платочек и, ни на кого не обращая внимания, чуть слышно бормотала: «Вот, все, как у

меня... Долг выше чувства, да?..» Ольга склонилась к соседке и шепнула несколько утешительных слов. В антракте они уже бродили по фойе, переговариваясь о всяких мелочах.

Соседка представилась: «Ева Браун». Ольга назвала себя и тут же пожалела, ибо сразу оказалась под шквалом вопросов: «Ой, послушайте, а это не вы играли в кино «За толику счастья» и «Любовь, в которой нуждаются женщины»?.. Вы?.. Простите, я вас не узнала. Хотя там, в зале, мне сразу ваше лицо показалось таким знакомым... Скажите, а вот как...»

Ольга улыбнулась, пять лет прошло, Боже мой, как время летит.

– ...Кстати, Олли, – вновь подруга перебила Чехову, – совсем забыла сказать: в четверг состоится большой прием в честь советского министра Молотова². Ты его знаешь?

– Да нет. Откуда мне его знать?

– Ну, это неважно. Так вот, ты обязательно должна быть. Завтра из рейхсканцелярии тебе доставят официальное приглашение. Что ты наденешь?

– Даже не знаю... А что ты посоветуешь?

– Только не темное. Что-нибудь полегкомысленней...

² Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович (1890–1986) – сов. полит. и гос. деятель, нарком иностранных дел. Почетный академик АН СССР. Герой Социалистического Труда, кавалер орденов Ленина и др.

Нарком иностранных дел Советского Союза Вячеслав Михайлович Молотов, крепенький и коренастый, поблескивающий стеклышками старомодного пенсне, показался Ольге чрезмерно скованным, напряженным, застывшим, словно в ожидании коварного подвоха. Гитлер же пребывал в благодушном настроении, ему было явно по душе несколько подавленное состояние сталинского министра. С чем он вернется в Москву? Ни с чем. Предложение немецкой стороны о присоединении СССР к Тройственному пакту отклонено, чего и следовало ожидать. А ведь это была лишь уловка, пробный шар, призванный сохранить у Кремля иллюзию последовательного стремления немецкого руководства к укреплению советско-германского сотрудничества. Сработало – и это главное.

Тем более германский посол в Москве Шуленбург с оптимизмом информировал об усилении прогерманской пропаганды в России. Сведена на нет демонстрация антифашистских фильмов, в открытом хранении в библиотеках иностранной литературы появились нацистские издания, зато изъяты из свободного доступа книги Эрнста Тельмана «Боевые статьи и речи», Вишнева «Как вооружались фашистские поджигатели войны» и подобных им авторов. В Большом театре готовится премьера – любимая опера фюрера «Вальки-

рия». Академик Тарле покорно стал твердить о позитивной роли Германии в истории России, а посему труды железного канцлера Бисмарка должны стать достоянием русского народа.

Словом, все шло в строгом соответствии со стратегической доктриной.

Гитлер жестом подозвал Геббельса, что-то шепнул ему, и рейхсминистр послушно проследовал в направлении к Чеховой.

– Фрау, прошу, фюрер ждет вас, – с полупоклоном промолвил Геббельс без тени улыбки. Он ненавидел эту русскую, в свое время пренебрегшую его знаками внимания, и мысленно (только мысленно!) не соглашался с тем, что Гитлер, всякий раз утверждая список приглашенных на официальный прием, собственноручно вписывает в него Чехову.

Ольга поставила на стол недопитый бокал мозельского и пошла следом за рейхсминистром, шалости ради вполне отчетливо произнесла ему в спину: «Сука».

– Вы что-то сказали, фрау? – обернулся Геббельс.

– Не обращайтесь внимания, герр рейхсминистр, это я так, о своем, о женском, – нежно, по-змеиному улыбнулась в ответ Ольга, на ходу стягивая с рук длинные белые перчатки.

Когда она остановилась у столика № 1, Гитлер, пристально глядя в непроницаемое лицо советского министра, громко сказал:

– Господин Молотов, я хочу представить вам красу и гор-

дось германского театрального искусства и кинематографии Ольгу Чехову. Вашу, кстати, бывшую соотечественницу. Но ныне – гражданку рейха. Более того, нашу государственную актрису.

И без того угрюмый Молотов еще больше насупился. Не найдя лучших слов, он сухо обронил, слегка заикаясь:

– Очень п-приятно.

С молчаливого одобрения фюрера Ольга прямо взглянула на советского дипломата (типичного «человека в футляре») и ответила по-русски:

– Мне тоже, Вячеслав Михайлович.

Молотов кашлянул и, приподняв бокал, предложил фюреру тост за взаимообогащение двух культур:

– У нас, в Советском Союзе, высоко ценят т-талант Шиллера, Гёте и Гейне. Мы любим музыку Вагнера. В Германии, насколько мне известно, чтут имена Пушкина, Толстого и Чайковского. Это замечательно. Классики культуры способствуют взаимопониманию наших народов.

– Я солидарен с вами, *tovarisch* Молотов, – усмехнулся Гитлер.

– Кстати, фрау Ольга... – попытался поддержать светскую беседу советский дипломат.

– Лучше – Ольга Константиновна, – лукаво намекнула Чехова.

– Ах, ну да, – спохватился Молотов, – конечно. Так вот, совсем недавно мне довелось перечитывать «Дуэль» Антона

П-павловича Чехова. Ведь он, кажется, ваш дедушка?

– Дядюшка, – поправила Чехова.

– Простите. Так вот, один из г-главных героев повести, насколько помнится, фон Корен, на мой взгляд, является ярким воплощением арийского характера...

– Вячеслав Михайлович, я не думаю, что Антон Павлович ставил перед собой такие задачи. Немцы – разные люди...

– Безусловно, Ольга Константиновна. Как и русские, впрочем, тоже.

Со стороны могло показаться, что Гитлеру дела нет до разговора актрисы и советского дипломата. Но Ольга видела, как Пауль Шмидт (прекрасный знаток русского языка и литературы, кстати, тоже) без устали нашептывает синхронный перевод их беседы фюреру. И она дерзко топнула ножкой:

– Ну, Вячеслав Михайлович, за Пушкина! За Гёте! И за Чехова!

– Конечно-конечно, – заторопился Молотов. – За наших великих писателей!

Кельнер, конечно же, оказался рядом с подносом, на котором стояли подернутые изморозью рюмки с водкой, высокие бокалы со светлым вином и отдельно – с пивом.

Гитлер ухмыльнулся и в ответ поднял бокал со своим излюбленным баварским:

– Прозит!

Сейчас Ольга не ощущала в рейхсканцлере никакого демонизма или магнетизма, о котором с придыханием судачи-

ли дамы в салонах. Напротив, он старался выглядеть максимально обаятельным, внимательным, сдержанным. И подчеркнуто галантным — с дамами.

Но ей доводилось видеть фюрера иным, когда он выступал на митингах или открывал факельные шествия штурмовиков. Вот когда он превращался в истеричного фанатика, способного «ввинчиваться» в каждого человека.

* * *

Актриса Чехова с профессиональной цепкостью подмечала: всякий раз, когда во время того или иного приема, какого-либо официального мероприятия в зале появлялся Гитлер, любая мелочь сразу обретала смысл. Каждое слово, недомолвка, пауза, жест — все мгновенно улавливалось на лету и расшифровывалось.

И как не вознестись ему, окруженному плотной атмосферой всеобщего внимания, читающему это в подвластных глазах и в лицах? Кто-то из правителей в свое время, не подумав, ляпнул: «Я не подвластен лести». Чепуха! Значит, ему просто плохо льстили. Для любого властителя лесть — единственная правда, пригодная для восприятия.

...Ольга интуитивно почувствовала, что отпущенное ей время истекло, этикет требовал оставить выдающихся государственных мужей и занять полагающееся место среди челяди. Фюрер едва заметно кивнул в знак согласия, на миг

прикрыл глаза, и тут же чиновник из внешнеполитического ведомства Риббентропа любезно подал фрау руку. Она шла по залу, сопровождаемая почтительно-завистливыми взглядами. Многих гостей, присутствовавших сегодня на приеме, она прекрасно знала, других угадывала благодаря фотографиям Евы Браун, третьи ее просто не интересовали.

Почувствовав колючие взгляды, впивавшиеся ей между лопаток, Ольга чуть скосила глаза вправо: ах, это вы, мои хорошие подружки, извечные соперницы за первенство на киноэкране и у имперского трона! Красотки Пола Негри³ и Цара Леандер⁴, изображая увлеченность оживленной беседой с какими-то хлыщами, не могли скрыть своих истинных чувств по отношению к какой-то Чеховой, неизвестно за какие заслуги выбившейся в фаворитки самого фюрера. А Ольга, в свою очередь, не желала стирать со своего лица торжество победительницы. Ваши места, милые дамы, во втором ряду партера, но не на сцене...

* * *

В просторном фойе, где Ольга приводила в порядок прическу у гигантского зеркала, в сопровождении охраны и ди-

³ Негри Пола (Барбара Аполония Халупец) (1897–1987) – киноактриса польского происхождения, секс-символ эпохи немого кино в Германии, США.

⁴ Леандер Цара (Зара) (1907–1981) – шведская киноактриса, певица. Работала в основном в Германии.

пломатов внезапно появились Гитлер и Молотов. Прощаясь с советским министром, фюрер, продолжая начатый ранее разговор, с пафосом произнес:

– Я уверен, герр Молотов, что история навеки запомнит Сталина.

– Я в этом не сомневаюсь, – невозмутимо согласился Молотов.

Ольга, видя в зеркало лицо наркома, усомнилась, умеет ли он улыбаться.

– Но я надеюсь, что история запомнит и меня, – продолжил фюрер.

– Я и в этом не сомневаюсь, – с достаточным почтением отозвался посланник Сталина.

Москва, март 1892 года

*Из ваших детей, Евгения Яковлевна, не выйдет
ровно ничего. Разве что только из одного старшего,
Александра...*

Протоиерей В.Ф. Покровский – Е.Я. Чеховой

Антон Павлович натужно закашлялся, сплюнул сгусток вязкой мокроты в крошечный, заранее приготовленный бумажный фунтик, лежавший, как обычно, за стопкой книг на столе, отдышался и вновь вернулся к письму старшего брата из Петербурга:

«У моего законного Мишки, которому теперь только 7S месяцев от роду, оказались гиперемия мозга, бронхит и расстройство кишечника, – сообщал Александр. – Сегодня, в страстную субботу, уже идут четвертые сутки, как он лежит в беспамятстве и изображает из себя кандидата на Елисейские поля...»

Совсем худо, подумал доктор Чехов, что же за напасть такая, просто беда. Надо бы поехать, лечить на расстоянии он не умеет...

Старший брат Александр был натурой крайне противоречивой. Его мало кто любил. Может быть, из-за того, что и он любил немногих. Кроме, разве что, младшего – Антоши. По утрам, глядя на себя в зеркало, прежде чем приступить к тошнотно-постылому (особенно на похмелье), но, увы, необ-

ходимому туалету, Александр с омерзением всматривался в собственное отражение: угрюмая, неприятная, некрасивая физиономия. Но каков есть, таков уж есть. Не взыщите, господа.

Для своего времени Александр Павлович был человеком образованным. Окончив гимназию с серебряной медалью, он первым из рода Чеховых получил высшее образование, пройдя полный курс двух факультетов Московского университета – естественного и математического. Хотя перед бра- том был откровенен: «Я прежде побаивался, что из меня выйдет такая бесстрастная и равнодушная щепка, как наш бывший учитель Дзержинский⁵, но теперь я совершенно спо- коен».

Его увлечениям несть числа.

Со студенческих лет активно сотрудничал с различными московскими изданиями. Привлек, кстати, к этому занятию – написанию для журналов всякого рода сценок и зарисовок – и младшего брата, в то время еще гимназиста.

Сам Александр сочинял много, легко и охотно, подписывая свои творения звучными псевдонимами – Агафопод, Агафопод Единичин, Алоэ и даже пан Халявский. Потом остановился на скромном – А.Седой. Впрочем, и родной фамилии не чурался, литературным успехам младшего брата

⁵ Дзержинский Эдмунд-Руфин Иосифович (1838–1882) – педагог, надворный советник. Преподавал в Таганрогской гимназии (1868–1875). Отец основателя ВЧК Ф.Э. Дзержинского.

не завидовал, первенство его признавал безоговорочно. Антон же первые свои миниатюры из скромности подписывал «Брат моего брата».

Спустя некоторое время Александр Павлович литературные занятия оставил, осознав: «Из меня в отношении творчества ничего дельного не вышло, потому что время вспышек прошло, а за серьезный труд творчества приняться боюсь — зело несведущ sum...»

Он взялся за редактирование журнала «Пожарный», а затем, накопив материал, издал солидный «Исторический очерк пожарного дела в России». Поостыв, возглавил восьмистраничный журнал «Слепец», предназначенный «для обсуждения вопросов, касающихся улучшения положения слепых». Когда обрыдла эта тематика, устроился редактором «Вестника общества покровительства животным». Потом, покопавшись в проблемах отечественной психиатрии, Александр Павлович стал автором серьезного исследования «Призрение душевнобольных в Петербурге».

Знакомые умилялись причудам литератора Ал. П. Чехова, убедившись, что свои сочинения он пишет исключительно куриными перьями. Объясняли архаичные пристрастия безграничной любовью Александра Павловича к птицам (в иные дни по его комнате в свободном полете порхало не менее четырех десятков божьих птах). К тому же он с удовольствием разводил кур, без конца совершенствуя конструкции курятников.

Попутно Александр Павлович вполне профессионально занимался фотографией (его авторству принадлежало одно из первых в России пособий по фотоделу – «Химический словарь фотографа»), велоспортом, недурственно разбирался в медицине и новейших философских течениях, с успехом изучал иностранные языки и проповедовал вегетарианство.

Собственноручно Александр Чехов мастерил особые корпуса настенных часов из подсобных материалов – диковинных дощечек, старых пробок, глинушек, прутиков, мха, фрагментов древесных лишаев, а гири заменял на наполненные водой винные или пивные бутылки. При этом прежние классические корпуса из красного дерева Александр Павлович аккуратно хранил в кладовой (на всякий случай). Коллекционировал он и карманные часы. А также пытался газировать молоко и варить линолеум из старых газет.

Время от времени его одолевала жажда странствий, и он исчезал из дома. А потом домой приходила телеграмма или красочная открытка с лаконичным сообщением: «Я в Крыму» или «Я на Кавказе».

Семейная жизнь Александра Павловича складывалась непросто. Вскоре после окончания университета он сошелся с Анной Хрущевой-Сокольниковой, служившей секретарем журнала «Зритель». Бойкая дамочка к тому времени уже успела побывать замужем, родить двух сыновей, потом неведомо от кого прижила еще и девочку. Тульская консистория

строго осудила Анну «за нарушение супружеской верности» и обрекла на «всегдашнее безбрачие». Впрочем, вольнодумца Александра Чехова это не остановило. Хотя потомство, рожденное во «всегдашнем безбрачии» Анной, и называл «кошмаром жизни».

После университета Александру Павловичу пришлось определяться со службой. Сперва он пристроился в Таганрогскую таможенную, затем перебрался в Петербург, а оттуда — уже в Новороссийск, откуда бежал в отчий дом. Разгневанный глава чеховской фамилии Павел Егорович срочно направил родным и близким депешу: «Уведомляю вас всех, кому ведать надлежит, что Губернский секретарь Александр Павлович Чехов приехал в Москву 3 июня 1886... Приехал чиновник из Новороссийска в грязи, в рубищах, в говне... Все прожито и пропито, ничего нет...»

Единственным, кто посмел взять брата под защиту, оказался Антон: «Мне известно только, что Александр не пьет зря, а напивается, когда бывает несчастлив или обескуражен чем-нибудь». Но при этом уточнял:

— Я не знаю, что его больше интересует: литература, философия, наука или куроводство? Он слишком одарен во многих отношениях... Но когда был трезв, то мучился тем, каким он был во хмелю, а под хмельком действительно бывал невыносим.

Не до конца растраченные литературные способности Александра Павловича стали нещадно эксплуатировать ор-

ганизаторы расплодившихся по России обществ трезвости. В трезвом состоянии он со знанием дела писал популярные брошюры о вреде пьянства, алкоголизма и о мерах борьбы с этим злом. Жаль только, Анна Хрущева вряд ли штудировала труды своего мужа, ее ослабленный алкоголем организм не справился с болезнями, и в 1888 году Александр Павлович овдовел.

Правда, очень скоро обвенчался с Натальей Александровной Ипатьевой-Гольден, сообщив Антону, что она и так «живет у меня, заведывает хозяйством, хлопочет о ребятах и меня самого держит в струне». Через пару лет Наталья подарила мужу сына, которого называли Михаилом.

Позже, присматриваясь к своему малолетнему племяннику, Антон Павлович ясно увидел в нем искру таланта и написал родным: «...А сын его Миша удивительный мальчик по интеллигентности. В его глазах блестит нервность. Я думаю, что из него выйдет талантливый человек».

Маленький «талантливый человек» был не только «удивительно интеллигентным», но и крайне любознательным. Однажды, пользуясь отсутствием дяди, он забрался в его спальню. Над кроватью обнаружил большую картину – портрет измученной, усталой белошвейки. Она сидела за столом, на котором тускло горела маленькая керосиновая лампа. Застыранная рубашонка почти сползла с ее плеч. В грустном, плачущем лице Миша узнал свою мать... Когда он подрос, добрые люди раскрыли ему страшную семейную тайну: Антон

Павлович и его мать втайне любили друг друга.

Сам Миша, по его признанию, постоянно находился в состоянии влюбленности: «В тринадцати-четырнадцатилетнем возрасте я был необыкновенно, катастрофически влюбчив. Влюбленность делала меня застенчивым и мрачным. Я краснел, становился особенно неловким и думал: «Вот разлюбит! Вот уже разлюбила!..»

А отец, которого он боготворил и боялся, угощал сына вином и пивом, а после неловко совал ему, прыщавому школяру, деньги на проституток, в которых тот непременно старался отыскать хоть какую-нибудь черту, которая могла бы привести его в восторг...

После смерти Антона Павловича, рассказывал Миша, отец «стал как-то бесцельно метаться, меньше работал, душевно ослаб и стал делать ненужные, ничем не оправданные вещи. Он вдруг ушел из семьи, без причины стал жить один... Терпел ненужные мелкие неудобства, путешествовал тоже бесцельно, тосковал...».

* * *

В иерархии нравственных ценностей первое место Антон Чехов безоговорочно отводил своим родителям. Он говорил: «Отец и мать – единственные для меня люди во всем земном шаре, для которых я ничего никогда не пожалею. Если я буду высоко стоять, то это дело их рук, славные они люди, и одно

безграничное их детолюбие ставит их выше всяких похвал, закрывает собой все их недостатки, которые могут появиться от плохой жизни, готовит им мягкий и короткий путь, в который они веруют и надеются так, как немногие».

В своих сочинениях Чехов старательно избегал морализаторства, проповеднических нотаций, не мнил себя духовным наставником, не поучал своих читателей, он им рассказывал и показывал. Но в делах житейских еще со студенчества, хотя нет, пожалуй, даже раньше, Антон взваливал на свои плечи все семейные тяготы. А посему имел моральное право указывать братьям, и старшим, и младшим, как следует вести себя в многотрудной жизни. Скорее, это было даже не право, а естественный душевный порыв – желание помочь.

17-летним гимназистом он писал младшему брату Мише, который ни с того ни с сего счел себя «ничтожным и незаметным»: «Ничтожество свое сознаешь? Не всем, брат, Мишам надо быть одинаковыми. Ничтожество свое признавай, знаешь, где? Перед Богом, пожалуй, перед умом, красотой, природой, но не перед людьми, среди людей нужно признавать свое достоинство. Ведь ты не мошенник, честный человек? Ну, и уважай в себе честного малого, и знай, что честный малый – не ничтожество. Не смешивай «смиряться» с «сознанием своего ничтожества».

Другому своему брату, Николаю, 26-летний доктор Чехов старательно разъяснял, что в его понимании есть воспитан-

ность. При этом излагал свою позицию лаконично и педантично, пункт за пунктом, словно выписывал рецепт на получение лекарств:

«Воспитанные люди должны удовлетворять следующим условиям:

1. Они уважают человеческую личность, всегда снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы...

2. Они уважают чужую собственность, а потому платят долги.

3. ...Не лгут даже в пустяках... Они не лезут с откровенностями, когда их не спрашивают...

4. Они не унижают себя с тою целью, чтобы вызвать в другом сочувствие...

5. Они не суетны. Их не занимает рукопожатие пьяного Плевако.

6. Если имеют в себе талант, то уважают его... Они жертвуют для него всем. Они брезгливы.

7. Они воспитывают в себе эстетику... Им нужна от женщины не постель... Им, особенно художникам, нужны свежесть, изящество, человечность, способность быть не ..., а матерью...

...Тут нужен непрерывный дневной и ночной труд, вечное чтение, штудировка, воля... Тут дорог каждый час...»

При всей любви и почтении, которые Антон испытывал к своему старшему брату Александру, в принципиальных вопросах он оставался строг и взыскателен:

«Александр! Я, Антон Чехов, пишу это письмо, находясь в трезвом виде, обладая полным сознанием и хладнокровием. Прибегаю к институтской замашке, ввиду высказанного тобою желания со мною больше не беседовать. Если я не позволяю матери, сестре и женщине сказать мне лишнее слово, то пьяному извозчику не позволю оное и подавно. Будь ты хоть 100 000 раз любимый человек, я, по принципу и по чему только хочешь, не вынесу от тебя оскорблений. Ежели, паче чаяния, пожелается тебе употребить свою уловку, т. е. свалить всю вину на «невменяемость», то знай, что я отлично знаю, что «быть пьяным» — не значит иметь право срать другому на голову. Слово «брат», которым ты так пугал меня при выходе моем из места сражения, я готов выбросить из своего лексикона... Покорнейший слуга А.Чехов».

Нежно называя Александра то «разбойником пера и мошенником печати», то «милым Гусопуло», то «Вашим Целомудрием», то «Уловляющим контрабандистов-человеков-вселенную, таможенным братом моим, краснейшим из людей», в минуты негодования Антон Павлович не стеснялся в выражениях и позволял себе любую резкость: «Неужели ты уже так зазнался и возмечтал о себе, что даже и деньги тебя не интересуют? Гандон ты этакий!...»

Москва, весна 1913 года

– О, мсье Букишон, ну наконец-то! Вы не представляете себе, до чего же я вам рада. – Ольга Леонардовна радушно пригласила гостя в гостиную. – Вы стали редко у меня бывать, Иван Алексеевич...

– Дела житейские, знаете ли, покоя не дают, с издателями воюю, от критиков отбиваюсь, кредиторы замучили, – скупо улыбнулся Бунин. – Впрочем, все это ерунда. Вы сами-то как, Ольга Леонардовна?

– Скучаю. Театр держится на старом репертуаре, новых интересных пьес нет, – отозвалась хозяйка дома. – Сегодня я вообще не занята. И вы так кстати вчера позвонили. Присаживайтесь, прошу...

На столе, как заведено было в этом доме, стояла ваза с фруктами. В одно мгновение стараниями заботливой Софы появились бутерброды, графинчик с водочкой, грибочки, а также сладости и шампанское.

Хотя Бунин знал, что в чистом виде шампанское Ольга Леонардовна не пила, полагая, что газ вреден для организма. Софья Ивановна, загодя предупрежденная о приходе гостей, разливала напиток в открытые чаши, где газовые пузырьки лопались, испарялись, и оставалось белое вино, которое она переливала в бутылки, охлаждала, и только после этого подавала к столу. Впрочем, шампанскому Ольга Леонардовна

всегда предпочитала коньячок, который пила из своей заветной серебряной стопочки...

– Вы уже закончили приводить в порядок чеховский архив? – поинтересовался Бунин.

– Да какой там! – всплеснула руками Ольга Леонардовна. – Только-только разложила по хронологии наши письма. А сколько бумаг еще не разобрано. Спасибо Марии Павловне, ведь на ней вся основная ноша... Хотите, кстати, прочту вам одно из последних писем Антона Павловича ко мне?

– Ну что вы, нет, конечно! Это – только ваше! – решительно возразил Бунин. – Нет-нет. А вот вам я хочу презентовать одну любопытную бумаженцию. Недавно в одной из своих книг обнаружил. – Он подал Ольге Леонардовне вдвое сложенный листок. – Помните, Верхняя Аутка, весна 1901 года?.. Вам тогда почему-то пришлось поспешно возвращаться в Москву, а меня оставили ночевать. Наутро Антон Павлович потащил нас с Марией Павловной в Суук-Су, обещая удивительный завтрак.

Как же было все замечательно, как много мы шутили, смеялись. Потом, когда я вздумал рассчитаться, Антон Павлович заявил, что расчет состоится дома, по особому счету... Вернулись на Белую дачу, он на какое-то время удалился к себе в кабинет, а потом вручил мне:

«Счет господину Букишону (французскому депутату и маркизу).

Израсходовано на вас:

1 переднее место у извозчика 5 р.
5 бычков а-ла фам о натюрель 1 р. 50 к.
1 бутылка вина экстра сек 2 р. 75 к.
4 рюмки водки 1 р. 20 к.
1 филей 2 р.
2 шашлыка из барашка 2 р.
2 барашка 2 р.
Салад тирбушон 1 р.
Кофей 2 р.
Прочее 11 р.
Итого 27 р. 75 к.

С почтением Антон и Марья Чеховы,
домовладельцы».

Отсмеявшись, Ольга Леонардовна вздохнула: «Какая жаль, что я тогда уехала! Непременно следовало остаться...» А потом спросила:

– Кстати, Иван Алексеевич, я запомнила, а почему «Букишон»?

– Да это Антон Павлович пошутил, в газете увидел портрет какого-то маркиза и решил, что он чрезвычайно похож на меня. Вот с той поры и пошло – мсье Букишон...

Ольгу Леонардовну все не отпускали воспоминания.

– Да, вам вместе никогда не было скучно... – Она внимательно посмотрела на гостя и своим чарующим, грудным, хорошо поставленным, классическим мхатовским голосом произнесла давно таимое: – Но ведь вы, как и многие, тоже

не желали нашего брака, Иван Алексеевич. Не правда ли?

– Правда, – секунду помедлив, ответил Бунин, – не желал. Но Чехову, поверьте, никогда об этом не говорил.

– Не говорили, – согласилась Ольга Леонардовна. – Но ведь думали, верно?..

Иван Алексеевич, кашлянув, кивнул головой: «верно», раздраженно сознавая, что ведет себя, будто гимназист, покорно соглашаясь с этой «классной дамой».

– Вы так и не поняли его, Иван Алексеевич, – печально сказала Ольга Леонардовна и поднялась из-за стола. – Да что там говорить, его даже родные братья не понимали. Один не явился на свадьбу. Другой, Александр, знаете, как Антона Павловича донимал? Все твердил: «Говорят, ты женишься на женщине с усами...» Свинья подзаборная!.. – не сдержавшись, выругалась она.

– А что, вообще, с ним случилось, простите? – из приличия поинтересовался Бунин.

– Милый мой маркиз Букишон, – вздохнула Ольга Леонардовна, – вы по-прежнему не читаете газет, а ведь Антон Павлович вам как писателю настоятельно советовал делать это. А меня оберегал: «Милая моя, не читай газет, не читай их вовсе, а то ты у меня совсем зачахнешь. Впредь тебе наука: слушайся старца-иеромонаха...» Видите, до сих пор его заветы наизусть помню...

Что же об Александре Павловиче... Он умер. Не очень давно. «Новое время», кажется, откликнулось, опубликова-

ло некролог. Одна только фраза и запомнилась: «Успокоился он 17 мая в девять часов утра...»

Успокоился... Жил он в последние годы, конечно, ужасно. Но все к тому и шло. После смерти Антона Павловича не выходил из запоя. Наталья прогнала его из дома, как он ни умолял о прощении. Обретался на даче, где-то под Петербургом. Пил со своим конюхом и дворником... Говорят, когда нашли его тело, рядом истошно кудахтали его любимые куры и выла собака... Вот такой конец был уготован человеку, к несчастью, инициалами и фамилией своей полностью совпадавшему с А.П. Чеховым...

– А как его Миша? Давно уж не виделись. – Бунин хитрил, он знал, что Михаил Чехов уже в Москве, работает в МХТ и вроде бы нашел себя. Но Ивану Алексеевичу захотелось сменить «покойническую» тему. – А нет, на 50-летию Антона Павловича, дома у Машеньки, мы как раз с ним встретились. Миша меня тогда поразил своей, как бы поточнее выразиться... талантливостью жестов. Он со своим кузеном Володей, кажется, настолько изящно что-то эдакое вытворял со шляпами, и это было настолько забавно, что я, глядя на него, хохотал и думал: это совершенно по-чеховски!.. Новое поколение...

– У Миши, слава Богу, все в порядке, – оживилась Ольга Леонардовна. – В прошлом году мне удалось перетащить его в Москву, пристроить в наш театр. Мы были тогда на гастролях в Санкт-Петербурге, где Миша служил в Малом Су-

воринском театре (ну, о репутации этого «храма Мельпомены» вы, должно быть, наслышаны). Пришел он ко мне такой неухоженный, нахохленный, зажатый. На все вопросы отвечал односложно. Еле-еле удалось растормошить. Я его в лоб спросила:

– А ты не хотел бы перейти в наш театр?

– Да я не смею даже мечтать об этом, – смутился он, как ребенок.

И знаете, Иван Алексеевич, я почувствовала в нем искренность и какую-то невысказанную боль. Пообещала замолвить словечко перед Станиславским и велела прийти завтра... Переговорила с Константином Сергеевичем, он, добрая душа, согласился посмотреть молодого актера, носящего такую фамилию.

Назавтра с утра Миша явился женихом. Штиблеты сияют, костюмчик отглажен. Воротничок рубашки горло стискивает, как удавка. Увидев Станиславского, он вообще, по-моему, перестал что-либо соображать и превратился в снулую рыбу...

Бунин откровенно любовался великой актрисой, которая перед ним, одним-единственным зрителем (!), разыгрывала вызванную из памяти реальную мизансценку, маленький водевиль.

– Константин Сергеевич, как обычно, был мил и доброжелателен. Задал Мише несколько простеньких вопросов, послушал отрывок из «Царя Федора» и, кажется, монолог

Мармеладова из «Преступления и наказания» – и немедленно объявил, что с сегодняшнего дня Михаил Александрович Чехов принимается в Художественный театр. Обращаясь к членам труппы, сидевшим в зале, он представил им новичка:

– Вот ваш новый товарищ. Примите его хорошо. Нам будет очень приятно иметь в театре племянника Антона Павловича...

Станиславский, несомненно, гениальнейший актер и режиссер, но дипломат, он, конечно, никудышный. С его легкой руки к Мише сразу же приклеилось прозвище «племянник». А потом я слышала, как наша молодежь – и Болеславский, и Хмара, и Готовцев, да и другие – называли его «замухрышкой со знаменитой фамилией» и даже стали распространять слухок, что Станиславский, принимая его в театр, якобы обмолвился: «Мне стало его жалко...» Хотя это, конечно, вранье чистой воды, я ведь сама присутствовала на показе... Но вот наших дам, – улыбнулась Ольга Леонардовна, – застенчивый юноша весьма заинтересовал...

Если бы он остался в Суворинском, – продолжила она, – я даже не представляю, в кого бы Миша превратился через два-три года... Может, так бы и продолжал играть своих тушиков в «Дачных барышнях»... Как-то, разоткровенничавшись, он признался мне, что испытывал в то время жгучий стыд: «Я не переносил себя как актера, я не мирился с театром, каким он был... Я точно и ясно осознавал, что именно в театре и в актере выступает как уродство и неправда. Как

громадную организованную ложь воспринимал я театраль-
ный мир. Актер казался мне величайшим преступником и
обманщиком... Между сценой и зрительным залом вспыхи-
вала ложь!...»

Вот так. А сегодня воспрял духом...

* * *

Откланявшись, Бунин не стал брать извозчика, решив
немного пройтись. Ему хотелось побыть одному. Он медлен-
но шел по центру Москвы и вспоминал один из многих ве-
черов, проведенных им вместе с Чеховым. Им в самом де-
ле было хорошо вдвоем. В любое мгновение – и когда шути-
ли или обсуждали серьезные проблемы, или просто молча-
ли, время от времени обмениваясь взглядами или малозна-
чительными репликами...

В тот вечер он читал Антону Павловичу один из своих
«мелких рассказов». Кажется, «Две просьбы». Чехов, уют-
но устроившись в любимом кресле, вытянул длинные ноги
и сцепил руки на затылке. Дослушав до конца, улыбнулся и
сказал:

– Хорошо. Нет, действительно хорошо... Я, Иван Алек-
сеевич, только женщин могу обманывать, когда говорю им,
что они восхитительны. А вам врать не хочу и не буду... Вы
свои «Просьбы» уже напечатали? Нет? Жалко. Примите дру-
жеский совет: никогда не читайте свои вещи до напечатания.

Кроме пьес, разумеется. А главное – не слушайте ничьих советов. Ошибся, соврал – пусть и ошибка, и вранье принадлежат только вам...

Потом, помолчав, добавил: «А вообще-то, по-моему, поставив точку, следует вычеркивать начало и концовку рассказа. Тут наш брат, беллетрист, больше всего грешит... Да, а чай вы будете?... Ну, как хотите... А кофе пьете?

– Изредка пью.

– Вы пейте каждый день, Иван Алексеевич. Чудесный напиток. Я, когда работаю, до вечера ограничиваю себя лишь кофе и бульоном. Утром – кофе, в полдень – бульон. А то как-то плохо работается...

Они опять помолчали. Бунин теребил в руках странички своего рассказа. Потом услышал глуховатый тихий голос:

– Знаете, а я женюсь...

И тут же смущенный Чехов принялся неуклюже шутить, говоря, что жениться нужно непременно на немке, а не на русской. Она и аккуратнее, и ребенок при ней не будет по дому ползать и бить в медный таз ложкой. И вообще...

Бунин, конечно, знал о его романе с Книппер, не был от этого в восторге и надеялся, что вся эта история не окончится браком. Он наверняка знал, что Ольга Леонардовна ни за что не оставит сцену, но многое, благодаря супруге, изменится в жизни Чехова. Возникнут трения между его сестрой и женой, что скажется на душевном покое и здоровье Анто́на Павловича. Ведь он, конечно же, как уже случалось в по-

добных случаях, будет остро переживать и страдать то за ту, то за другую, а то и за обеих вместе.

Это самоубийство, был уверен Иван Алексеевич, хуже Сахалина. Медленное самоубийство... Но, разумеется, молчал.

Заметив отчужденность Бунина, Антон Павлович шутовски хлопнул в ладоши и предложил:

– А теперь, уважаемый коллега, давайте вместе сочиним чувствительную, душеспасительную повесть о бедной, несчастной девушке, которая старалась, но никак не могла выйти замуж. Для начала мы с вами должны придумать ей какое-нибудь завлекательное имя...

– Ирландия, – тотчас откликнулся Бунин.

– Невралгия, – не остался в долгу Чехов.

– Австралия, – продолжил игру Иван Алексеевич.

– Что это вас, мсье маркиз, в географию потянуло? – с укоризной поинтересовался Чехов и спросил, невинно улыбаясь: – А может быть, ее родители нарекли нашу девицу Истерией?.. Хотя нет, пусть лучше она станет у нас Розалией Осиповной Аромат.

Петербург – Москва, 1914-й и другие годы

Действительный тайный советник Константин Леонардович Книппер был человеком сурового нрава. Иначе вряд ли ему сначала доверили бы руководить строительством Закавказской железной дороги, а затем, по инициативе главы правительства Сергея Юльевича Витте, назначили начальником железных дорог всего Южного округа. Премьер высоко ценил энергичного, требовательного чиновника, сторонника воинской дисциплины на транспорте, и при всякой возможности подталкивал его все выше и выше по служебной лестнице.

Книппер месяцами не бывал дома, колеся по бескрайним российским просторам. А по возвращении из командировок учинял строгий спрос, начиная, как правило, с потомства. Жена Луиза Юльевна уверяла, что с учебой у ребят все вроде бы в порядке, только вот у Оленьки – сплошные «неуды» и ветер в голове.

– Я уже не знаю, что с ней делать, Константин Леонардович. На уме – только театр, репетиции, постановки, домашние концерты. Тут тебе и «Чайка», и инсценировки чеховских рассказов. «О любви», между прочим, тоже. И все ребята вокруг Оленьки вьются. Чувствую, не нужна ей ни ме-

дицина, ни учительство, ни все прочие науки. Даже рисованием в последнее время стала меньше заниматься, этюдник в чулан забросила. Может, не стоит ломать ей судьбу? Наверняка ведь она в твою сестру пошла... Ты бы, Костя, списался с Ольгой Леонардовной, посоветовался.

— Что там списываться, советовать? — не перенося долгих разговоров, ответил Константин Леонардович. — Я на днях в Москву еду, заодно встречусь с сестрицей, поговорим...

Ольга Леонардовна Книппер-Чехова, не раздумывая, согласилась принять под свою опеку обеих племянниц: и Олю, и Аду. Тем более своих детей у нее с Антоном Павловичем так и не случилось. В первый же год замужества у Ольги Леонардовны произошел выкидыш. Гинекологи тогда говорили: сказались чрезмерные загрузки, постоянные гастрольные разъезды, в тяжелой поездке в Симферополь и вовсе растрясло... А они так мечтали о сыне, даже имя чудное придумали — Памфил. Но, видать, не судьба.

Перебирая чеховские письма, Ольга Леонардовна и сегодня плакала, вслух повторяя его ласковые, нежные, согревающие душу слова: «Дуся моя, замухрыша, собака, дети у тебя будут непременно, так говорят доктора. Нужно только, чтобы ты совсем собралась с силами. У тебя все в целости и в исправности, будь покойна, только недостает у тебя мужа, который жил бы с тобой круглый год. Но я, так и быть уж, соберусь как-нибудь и поживу с тобой годик неразлучно

и безвыездно, и родится у тебя сынок, который будет бить посуду и таскать твоего такса за хвост, а ты будешь глядеть и утешаться... Ну, светик, Господь с тобой, будь умницей, не хандри, не скучай и почаще вспоминай о своем законном муже. Ведь, в сущности говоря, никто на этом свете не любит тебя так, как я, и, кроме меня, у тебя никого нет. Ты должна помнить об этом и мотать на ус. Обнимаю тебя и целую тысячу раз. Твой А.»

Или вот еще: «...А что ты здорова и весела, дуся моя, я очень рад, на душе моей легче. И мне ужасно теперь хочется, чтобы у тебя родился маленький полунемец, который бы развлекал тебя, наполнял твою жизнь. Надо бы, дусик мой!»

Только несносный Москвин, мнивший себя записным остроумцем, и тут отметил, с деланным сочувствием нашептывая за кулисами, а заодно и околотеатральным дамам: «Осрамилась наша первая актриса – от какого человека – и не удержала...»

Но как же она стремилась «удержать»!

Впрочем, им все тогда казалось нипочем, какие наши годы! Вскоре Ольга Леонардовна вновь забеременела. Но так случилось, что во время спектакля рабочие, то ли пьяные, то ли просто нерадивые, забыли закрыть люк на сцене – и она, оступившись, с высоты в несколько метров рухнула вниз, в кромешную темноту...

Когда после тяжелой операции и длительного периода беспомощности очнулась, врачи вынесли ей безжалостный

приговор: детей у нее никогда не будет. Доктор Чехов это понимал и без них.

* * *

Семнадцатилетняя племянница Оленька произвела на Ольгу Леонардовну самое отрадное впечатление. Слепительно красива, настоящая погибель для мужчин. А улыбка?! А глазищи?! При этом далеко не глупа, хорошо воспитана, внимательна, настойчива, знает себе цену.

История голубоглазой Оли напомнила актрисе эпизод ее собственной биографии, когда она примерно в том же возрасте стояла на коленях перед своей мамой и слезно упрасивала:

– Маменька, вы же сами рассказывали, как в юности мечтали о сцене, о музыке, а когда родители не пустили вас в консерваторию, жестоко страдали...

Но Анна Ивановна оставалась непреклонной:

– Да, я страдала, и ты пострадай. И не вздумай проситься у отца – он этого не переживет! Ты же знаешь, какое у него слабое сердце...

Страдать юная жизнерадостная Оленька Книппер решительно не желала. К тому же, прости, Господи, судьба распорядилась так, что и не пришлось. Когда отец, преуспевающий управляющий крупного завода, скоропостижно скончался, оказалось, что банковские счета его пусты, а кредито-

ров – хоть пруд пруди. Семейный уклад тотчас резко изменился. «Надо было думать о куске хлеба, – вспоминала Ольга, – надо было зарабатывать его... Переменили квартиру, отпустили прислугу и начали работать с невероятной энергией... Поселились «коммуной» вместе с братьями матери...»

Анне Ивановне пришлось, вспомнив прежние таланты, вернуться к музыке. Она начала преподавать вокал в школе при филармоническом училище. Младший Олин брат, студент, занялся репетиторством, старший – устроился инженером где-то на Кавказе. Дядя – один врач, другой – военный – тоже старались делать все, чтобы создавать хотя бы видимость прежнего уровня жизни.

При этом Оля чувствовала себя обузой. Мама, в итоге, уступила настырной дочери и даже составила ей протекцию при поступлении на актерское отделение того самого училища, где преподавала сама.

Ольге повезло – она оказалась в числе слушательниц курса Владимира Ивановича Немировича-Данченко. Вскоре девушка уже наверняка знала, что самый талантливый, самый умный, самый прогрессивный и, вообще, лучший человек на Земле – ее Учитель. И, конечно, с превеликой радостью согласилась войти в труппу будущего театра, который Немирович-Данченко намеревался создать вместе со своим товарищем, актером-любителем Константином Алексеевым, взявшим себе звучный псевдоним – Станиславский.

Она была готова идти за своим Мастером хоть на край

света. Ну и что с того, что он был женат?! То, что творил Владимир Иванович, заставляло забывать обо всех условностях. Да он и сам быстро увлекся очаровательной Ольгой Книппер, молодой женщиной с прекрасными манерами и безупречным вкусом, к тому же обладавшей недюжинным актерским даром. Постоянные же упреки моралиста Станиславского, мечтавшего видеть их театр священным храмом высокого искусства, Владимир Иванович пропускал мимо ушей. Не в силах был он держать постоянную осаду окружающих его чаровниц. Ольга вначале взбрыкивала, но после смирилась, сочтя любвеобильность всенепременной спутницей подлинного художника. Одно печалило: годы...

Чуть позже, согласовывая с автором «Чайки» кандидатуры исполнителей, Немирович-Данченко весьма похвально отозвался о своей актрисе: «Аркадина – О.Л. Книппер (единственная моя ученица, окончившая с высшей наградой...). Очень элегантная, талантливая и образованная барышня, лет, однако, 28...»

14 июня 1898 года в подмосковном Пушкино (неподалеку от Любимовки, имения Станиславского), в заурядном сарае на берегу Клязьмы состоялся первый сбор труппы нового театра, который решили назвать Художественным. Естественно, Ольга Книппер стала одной из первых актрис, зачисленных в штат. Жалованье ей положили 60 рублей – неплохие деньги для вчерашней студентки. До исступления артисты репетировали свой первый спектакль «Царь Федор Иоанно-

вич». Снимали ближние дачи, по очереди дежурили по хозяйству, ибо на прислуге следовало экономить. И готовили, и на стол накрывали, и прибирали – все сами. Так начинался будущий МХАТ.

В новом театре Книппер сразу окрестили «наша Герцогиня» – за аристократичную осанку и безупречные манеры. Что говорить, если сама *madame* Ламанова – лучшая из московских портних-модисток – почитала за честь обшивать молодую актрису, даже в долг.

Единственной соперницей Ольги на сцене и вне подмостков была Мария Андреева. Савва Морозов, крупнейший пайщик театра, всемерно поддерживал свою любимицу Марию Федоровну, Немирович же – естественно, Ольгу Леонардовну. Если главная роль доставалась Книппер, меценат сокращал финансирование, даже если Немирович выдвигал свои резоны: «Андреева – актриса полезная, а Книппер – до зарезу необходимая».

Так и жили «примы» театра, искусно маскируя свои непростые взаимоотношения и создавая атмосферу задушевной дружбы. Даром что женщины, так ко всему еще и актрисы. Эдакая гремучая смесь...

Однажды на одной из театральных вечеринок Андреева и Книппер затеяли шутливую игру в фанты: разыгрывали, кто из знаменитых литераторов кому из актрис выпадет. Хотите верьте – хотите нет, но Андреева вытащила фант с именем Максима Горького, а Книппер – Антона Чехова. Божье Про-

видение, да и только...

Чуть позже Горький, по привычке своей прикидываясь то ли босьяком Челкашом, то ли Лукой-утешителем, опять-таки лукаво намекал Чехову: «Говорят, что Вы женитесь на какой-то женщине-артистке с иностранной фамилией. Не верю. Но если правда – то я рад. Это хорошо – быть женатым, если женщина не деревянная и не радикалка. Но самое лучшее – дети. Ух, какой у меня сын озорник!..»

Жаль только, что даже «раздел сфер влияния и сердечных интересов» среди подруг-соперниц не привел к вселенскому перемирию. Во всяком случае, Ольга Леонардовна, сообщая любимому мужу о завершении театрального сезона, второпях обмолвилась: «Публика, по обыкновению, орала, галдела. Андреевой после каждого акта подавали корзины с цветами на прощание... Одна твоя жена была без цветов, подали только пучок роз и нарциссов с надписью «Из Красного стана, Моск. губ.». Не понимаю...»

Москва, 1904 и 1914 годы

Женятся, потому что обоим деваться некуда...
А.П. Чехов. Записные книжки

Оленька Книппер-младшая очень быстро освоилась в Москве и ее театральном мире. С наслаждением и тайным восторгом дышала атмосферой тетушкиного дома на Пречистенском бульваре, в котором не переводились гости, да еще какие! Станиславский, Вахтангов, Немирович-Данченко, Горький, создатель театра «Летучая мышь» Балиев, самые известные композиторы и художники...

Но настоящие праздники наставали, когда в квартиру тетушки врывается богемная компания молодых актеров во главе с племянником самого Антона Павловича Михаилом Чеховым. Именно здесь, на воле, они азартно тратили всю свою нерастраченную на сцене творческую энергию, задор, фантазию, с лихвой компенсировали свою временную, как им казалось, невостребованность. Молодые лицедеи наперебой читали стихи, разыгрывали сценки, делились актерскими байками и очень достоверно изображали свою безумную влюбленность в юную Оленьку, взывая к Ольге Леонардовне: «Как Вы посмели прятать это сокровище?!..»

Мишу Чехова впечатлительная Оленька помнила еще по Петербургу, когда родители брали ее с собой на спектакли

Суворинского театра. Только кем она тогда была для него? Маленькой девчушкой, дальней родственницей, не более. Много позже Ольга Константиновна вспоминала, как она «сходила по нему с ума и рисовала себе в еженощных грезах, какое это было бы счастье – всегда-всегда быть с ним вместе».

И вот – надо же, это ли не чудо?! – едва ли не в первый день в Москве она встречает в доме своей тетушки Михаила. Взрослого, эффектного, самостоятельного. Уже успевшего прославиться, кроме сценических ролей, успехом в кинематографе, появившись на экране в роли одного из представителей династии Романовых – Михаила Федоровича в нашумевшей верноподданнической картине «300-летие царствования дома Романовых».

Да и он, – практически фаворит, пусть еще не всеми признанный, но мнения самого Константина Сергеевича и без того было достаточно, – увидев очаровательное создание, тут же решил: моя! Я не я буду – моя!

После премьеры любительского благотворительного спектакля «Гамлет», в котором Михаил, озорничая, исполнял главную роль, а Ольга, естественно, Офелию, он втащил ее за кулисы и нежно, душевно, но уж никак не по-родственному крепко расцеловал в уста. Ее, недотрогу, всерьез полагавшую, что от поцелуя постороннего мужчины можно забеременеть?!

– Все, теперь ты должен на мне жениться! – утирая слезы,

заявила она своему дерзкому кузену.

– Чего же лучше?! – весело ответил принц Датский, он же будущий Хлестаков.

* * *

Творческие дела у Михаила действительно складывались более чем успешно. Работая поначалу в филиальном отделении МХТ, он быстро перерос «народные сцены» (массовки) и «кушать подано», и Станиславский доверил ему роль Васьки в тургеневском «Нахлебнике». А с появлением студии при Художественном театре Михаил одновременно стал востребован сразу на двух сценах. Восхищенным его исполнением роли слуги Фрибэ в «Празднике мира» Гауптмана в студийном зале уже на следующий день он отвечал на главной сцене Художественного театра блестящим Семеном Пантелеевичем Епиходовым из «Вишневого сада».

И там, когда он произносил монолог чеховского конторщика, поклонникам казалось, что на самом деле Чехов говорит о себе: «Я развитой человек, читаю разные замечательные книги, но никак не могу понять направления, чего мне собственно хочется, жить мне или застрелиться, собственно говоря, но тем не менее я всегда ношу при себе револьвер. Вот он... Собственно говоря, не касаясь других предметов, я должен выразиться о себе, между прочим, что судьба относится ко мне без сожаления, как буря к небольшому ко-

раблю. Если, допустим, я ошибаюсь, тогда зачем же сегодня утром я просыпаюсь, к примеру сказать, гляжу, а у меня на груди страшной величины паук... Вот такой... И тоже ква-су возьмешь, чтобы напиться, а там, глядишь, что-нибудь в высшей степени неприличное, вроде таракана...»

Да что там роли?! Еще большего уважения коллег заслужил молодой Чехов своим дерзким поступком, когда на одном из представлений, во время которого публика вела себя совершенно беспардонно, шумела, смеялась невпопад и ровным счетом не обращала внимания на ход действия, он тихо взорвался, прервал ключевую сцену и проникновенно обратился к зрителям: «Может быть, если бы вы, уважаемые, более внимательно слушали нас, спектакль бы вам и понравился...»

А вскоре добрые люди шепнули Михаилу, что сам Станиславский в разговоре с Немировичем-Данченко безапелляционно заявил: «Миша Чехов – гений». Верить этому молодой актер отказывался до тех пор, пока сам случайно не услышал, как Константин Сергеевич настоятельно советовал новобранцам МХТ: «Изучайте систему по Мише Чехову. Всё, чему я учу вас, заключено в его творческой индивидуальности. Он – могучий талант, и нет такой задачи, которую бы он не сумел воплотить на сцене».

Хотя порой неумный, бунтарский дух и темперамент Чехова выплескивался через край, о чем он позже сожалел и, бывало, даже стыдился. Однажды «неудавшийся революци-

онер», как называл себя сам Михаил, после очередной репетиции мольеровского «Мнимого больного» собрал в «уборной комнате» (так требовала конспирация) своих товарищей, изображавших в пантомиме докторов, и принялся увещевать:

– Стыдно! Вы позволяете себя угнетать, вы бессловесно носите по сцене какие-то клистиры. Вы, взрослые люди, художники, – Вахтангов, Дикий и Сушкевич с готовностью кивали в знак согласия, но молчали, – позволяете обращаться с собой, как со статистами в опере! Где ваше человеческое достоинство?! Где артистическая гордость?! Может быть, у некоторых из вас есть жены и дети – как же вы можете смотреть им в глаза, не краснея? Качаловы и Москвины играют все, что хотят, захватывают себе лучшие роли, а вы молчите и трусливо кланяетесь им в коридорах театра! Проснитесь! Протестуйте же!..

В этот миг дверца одного из кабинетиков уборной, щелкнув задвижкой, отворилась, и перед группой «заговорщиков» предстал... Станиславский. Великий и ужасный. Наступила зловещая, просто метерлинковская тишина. Константин Сергеевич вплотную приблизился к трибуну, помолчал, долго, с сожалением изучая побелевшее, задранное кверху курносое лицо, а затем взял Чехова за ворот тужурки и... легко приподнял. Когда закатившиеся от ужаса Мишины глаза оказались на уровне его лица, режиссер грустно вздохнул и сказал:

– Вы – язва нашего театра, – и, отпустив несчастного, с державным величием удалился...

Параллельно с актерской, успешной, веселой и беспечной жизнью Михаил вел другую, ни в чем не похожую на первую. Среди персонажей, окружавших меня в этой жизни, рассказывал молодой, чрезмерно эмоциональный и увлекающийся актер, выделялись три почтенных старца.

Первым из наставников был Чарльз Дарвин, который настойчиво убеждал его в том, что жизнь есть беспощадная борьба за существование и что мораль и религия – лишь иллюзии, хотя, возможно, и прекрасные. Другой – Зигмунд Фрейд – не жалел своего красноречия, чтобы объяснить ему, неразумному и упрямому, желающему видеть и ценить душу в человеке, что он должен делать это, по крайней мере, соответственно научным методам, то есть видеть вещи объективно, таковыми, каковы они есть на самом деле, вне зависимости от собственных симпатий и антипатий. Мудрый старец показывал ему подсознательное человеческой души со всеми нечистотами и сексуальными импульсами. Третьим наставником, взявшим на себя заботу о внутренней жизни юноши, стал Артур Шопенгауэр. Он создавал для него обособленный, привлекательный мирок, где царили наследственность, борьба и все те же сексуальные порывы.

Хотя Шопенгауэр и ругался как извозчик, но ему удалось околдовать своего ученика очарованием одиночества, тоски и пессимизма, дабы он обрел возможность любоваться

бесцельностью человеческого существования. Именно Шопенгауэр казался Мише Чехову самым добрым и милым из «почтенных старцев», и его портретами были увешаны стены комнаты усердного «послушника».

Испытывавший чувство блаженной благодарности к учителю, Михаил поклялся: «Если ты действительно ставишь жизнь ни во что, сознательно соверши неразумный поступок, который отразился бы на всей твоей судьбе».

Но какой поступок? А что, если жениться? И неразумно, и необременительно. Но на ком? Что далеко ходить, невесты находились под боком, на выбор – гостящие у тетушки ее племянницы, родные сестры Ольга и Ада. «И я, – рассказывал Михаил, – решил жениться на одной из них. Не надеясь получить согласие ее родителей на брак, я задумал похищение...»

Тихоня Олюшка, родившаяся на Кавказе, опрометчиво рассказывала ему о тамошних красивых традициях.

* * *

– ...Тетушка, так как вы познакомились с Антоном Павловичем? – донимала Ольгу Леонардовну любознательная и дотошная племянница, до умопомрачения мечтавшая о любви.

– Как? Конечно же, в театре. Кажется, в 1898 году Антон Павлович был у нас на спектакле «Царь Федор». Я играла

Ирину. А потом узнала, что он кому-то сказал: «Так хорошо, что даже в горле чешется... Если бы я остался в Москве, то влюбился бы в эту Ирину».

Потом начался наш чудесный «почтовый роман», который растянулся на несколько лет... Ты же видела его письма ко мне... Может быть, они и есть самое лучшее из всего, что Чехов написал. Во всяком случае, для меня. Вот, погоди минутку, Оленька. Я недавно перебирала некоторые из них, так даже «в горле чесалось»... Послушай-ка: «Актриса, замечательная женщина, если бы Вы знали, как обрадовало меня Ваше письмо. Кланяюсь Вам низко-низко, так низко, что касаюсь лбом своего колодезя, в котором уже дорылись до 8 сажен. Я привык к Вам и теперь скучаю, и никак не могу примириться с мыслью, что не увижу Вас до весны...»

Или вот еще: «Пиши мне, моя лошадка, нацарапай письмо подлиннее своим копытцем. Я тебя люблю, мое золото. Обнимаю тебя...»

Завидуй, Оленька. Далеко не каждой женщине великий писатель может подарить такие слова: «...я не знаю, что сказать тебе, кроме одного, что я уже говорил тебе 10 000 раз и буду говорить, вероятно, еще долго, т. е. что я тебя люблю – и больше ничего...» или «Если мы теперь не вместе, то виноваты в этом не я и не ты, а бес, вложивший в меня бацилл, а в тебя – любовь к искусству... Твой Antoine».



Беспечная невеста, разумеется, была не против «похищения», и не существовало в мире силы, способной ее остановить. Ольга жаждала настоящей взрослой жизни, свободы и надеялась сохранить ее в замужестве с Михаилом. Ведь он, настолько увлеченный театром, вряд ли стал бы ей чрезмерно докучать. К тому же в Мише ее привлекало все: и ореол талантливого артиста, и его доброта, и страстность, и бесстыжие шалости, к которым он ее приучал.

Да, разумеется, Ольге были лестны комплименты, букеты и прочие знаки внимания иных поклонников, но, будучи барышней рассудительной, она не видела смысла и перспективы в этих ухаживаниях. Ну, взять хотя бы Володю Чехова, Мишкиного двоюродного брата, который преследовал ее чуть ли не по пятам. Какой в нем прок, скажите...

Ранним утром молодые на легких дрожках примчались в подмосковную церковь (не церковь – маленькую часовенку) и, щедро «отблагодарив» алчного батюшку, без документов и прочих формальностей, наскоро, обойдясь даже без певчих, обвенчались, объясняя спешку тем, что жениху надобно срочно отбывать на гастроли. А потом умчались куда глаза глядят. О последствиях они старались не думать. И напрасно.

Ольга Леонардовна была до глубины души оскорблена

дерзким поступком племянницы. Она не находила себе места. «...Ну, Олюшка, ну, милая, спасибо тебе, дорогая... Родители вручили в мои руки судьбу молодой барышни, а она вот что выкинула, авантюристка! Нашла с этим прохвостом Мишкой какую-то церквушку, наспех обвенчалась. Какого рожна ей не хватало? Поклонников хоть пруд пруди... Так какого же черта?!. Прости меня, Господи», – тетушка исто-во перекрестилась. Потом подошла в телефону, стоящему на изящном столике, схватила трубку и нервно потребовала соединить ее с квартирой Чеховых. Но, не дождавшись ответа, тотчас решила ехать к Ольге и немедленно поломать всю эту комедию!

Своенравная тетушка, всегда считавшая себя вправе во все без исключения вмешиваться, вскоре, как и предчувствовал жених, заявила «в гости» к молодым. Она примчалась «и с истерикой и обмороками на лестнице, перед дверью моей квартиры, требовала, чтобы Ольга сейчас же вернулась к ней!...».

Но это был лишь первый акт «пиесы». В следующем с виноватой улыбкой на «авансцене» появился несчастный Сулер⁶ с нижайшей просьбой: «Миш, отпустил бы ты Олю к Ольге Леонардовне. Хоть на часок. Она ведь не отстанет, ты же ее знаешь... Она там, ждет на улице». – «Хорошо, – со-

⁶ Сулержицкий Леопольд Антонович (друж. прозвище «Сулер») (1872–1916) – русский театральный режиссер, художник, педагог, общественный деятель, толстовец. Один из организаторов студии МХТ.

гласился законный Олин супруг. – Но под твоё честное слово, ровно на час, не более».

Когда после семейной выволочки Ольга вернулась, Сулержицкий передал новый ультиматум от Книппер-Чеховой: племянница должна остаться в её доме, пока за ней не придёт мать, Луиза Юльевна.

«А вот вам дудки!» – тут уже не выдержал Михаил. Оля, испуганная, съездившаяся, подошла к мужу, обняла и заплакала.

Поздним вечером ни с чем возвращавшаяся домой, но отнюдь не смирившаяся с поражением, Ольга Леонардовна неожиданно вспомнила своё, 13-летней давности, венчание с Антоном Павловичем. Оно ведь, в сущности, ничем не отличалось от нынешнего тайного свадебного обряда Ольги-младшей.

...Тогда, весной 1901 года, Чехов, неожиданно расхрабравшись, предложил ей: «Если ты дашь слово, что ни одна душа в Москве не будет знать о нашей свадьбе до тех пор, пока она не совершится, то я повенчаюсь с тобой хоть в день приезда. Ужасно почему-то боюсь венчания и поздравлений, и шампанского, которое нужно держать в руке и при этом неопределенно улыбаться. Из церкви укатил бы не домой, а прямо в Звенигород. Или повенчаться в Звенигороде...»

Она тогда, помнится, ужасно смутилась и долго не могла взять в толк, отчего возникала столь странная идея. Потом все же написала жениху: «Я знаю – ты враг всяких «се-

рьзных» объяснений, но мне не объясняться нужно с тобой, а хочется поговорить как с близким мне человеком... Скажи мне откровенно. Я не хочу раздражать тебя ничем. Я так ждала весны, так ждала, что мы будем где-то вместе, поживем хоть несколько месяцев друг для друга, станем ближе, и вот опять я «погостила» в Ялте и опять уехала. Тебе все это не кажется странным? Тебе самому?.. Я вот написала все это и уже раскаиваюсь, мне кажется, что и ты все это сам отлично чувствуешь и понимаешь. Ответь мне сейчас же на это письмо, если тебе захочется написать откровенно; напиши все, что ты думаешь, выругай меня, если надо, только не молчи... Целую тебя крепко – хочешь? Книпшитц.

Приезжай в первых числах, и повенчаемся, и будем жить вместе. Да, мой милый Антоша?.. Целую. Ольга».

Отбросив прочь последние сомнения, Антон Павлович живописал невесте самые радужные картины грядущего свадебного путешествия и безоблачной семейной жизни: «В начале мая, в первых числах, я приеду в Москву, мы, если можно будет, повенчаемся и поедем по Волге или прежде поедем по Волге, а потом повенчаемся – это как найдешь более удобным. Сядем на пароход в Ярославле или Рыбинске и двинем в Астрахань, на Соловки. Что выберешь, туда и поедем. Затем всю или большую часть зимы я буду жить в Москве, с тобой на квартире. Только бы не киснуть, быть здоровым... Я вяло думаю о будущем и пишу совсем без охоты. Думай о будущем ты, будь моей хозяйкой, как скажешь, так я и буду

поступать, иначе мы будем не жить, а глотать жизнь через час по столовой ложке...»

Свадебная церемония состоялась в соответствии с безупречными законами чеховской драматургии. Тихо, скромно, без шумихи и огласки, но, безусловно, с интригой. 25 мая на Плющихе, в церкви Воздвижения на Овражке батюшка прекрасным баритоном окончательно пророкотал: «Венчается раб Божий Антон с рабой Божией Ольгой...»

Свидетелями венчания были лишь шаферы, в том числе брат Ольги Леонардовны Владимир Книппер.

А что же гости? Конечно, их было великое множество. Всех – от самых близких родственников до людей театральных и литературных – от имени Антона Павловича и Ольги Леонардовны собрал на званый ужин известный затейник Саша Вишневский⁷. Когда в назначенный час гости сидели за богатыми столами, несколько смущенные и недоумевающие, по какому, собственно, поводу банкет и где, в конце концов, его хозяева, Вишневский встал, откашлялся и торжественно объявил, что в данный момент в церкви Воздвижения происходит церемония венчания Антона Павловича и Ольги Леонардовны!

Утихомилив шквал аплодисментов, тамада продолжил: «...А поскольку непосредственно участвовать в свадебном

⁷ Вишневский (Вишневецкий) Александр Леонидович (1861–1943) – актер, один из создателей МХТ. Герой Социалистического Труда (1933), засл. арт. РСФСР. Соученик А.П. Чехова по Таганрогской гимназии.

пиршестве молодым не представляется возможным, они просят поднять бокалы за их здоровье. Виват, господа!...»

Великий постановщик «народных сцен» Константин Сергеевич Станиславский по достоинству оценил замысел великого драматурга Чехова: соль была в том, «чтобы собрать в одно место всех тех лиц, которые могли бы помешать повенчаться интимно, без обычного свадебного шума. Свадебная помпа так мало отвечала вкусу Антона Павловича...»

Тем временем молодожены в черной лакированной пролетке спешили на вокзал, где уже пытел паровоз, который держал путь на Самару. На станции перед самым отъездом Антон Павлович едва успел отправить телеграмму в Ялту дорогой Евгении Яковлевне: «Милая мама, благословите, женюсь. Уезжаю на кумыс. Адрес: Аксеново, Самаро-Златоустовский. Здоровье лучше. Антон».

Вот как все было, Оля. А ты...

Мыслимо ли сравнивать, горько сокрушалась Ольга Леонардовна, брак ее, 40-летней, зрелой, умудренной жизненным опытом женщины, первой актрисы России, с лихорадочным желанием этой соплячки, из кожи вон лезущей, лишь бы только поскорее обрести статус замужней дамы?!.. Какая же все-таки она дуреха, только фамилию опозорила... Хотя, усмехнулась Ольга Леонардовна, какую именно из наших двух фамилий?..

Свершивший по наущению Шопенгауэра свой неразумный поступок, 23-летний Михаил ликовал. «Моя жена красавица! – сообщал он одному из друзей. – Жена моя – не по носу табак... Да, я думаю, не легко тебе представить меня рядом с красавицей женой, семнадцатилетней изумительной женкой».

Потом искренне каялся перед своей милой тетушкой, Марией Павловной: «Машечка, хочу поделиться с тобой происшедшими за последние дни в моей жизни событиями. Дело в том, что я, Маша, женился на Оле, никому предварительно не сказав».

Но прошло какое-то время, и в сердечных излияниях Михаила Александровича появились новые нотки: «Свою молодую красавицу жену я... горячо полюбил и привязался к ней. Со свойственным ей чутьем она угадывала, в какой душевной неправде я жил, старалась помочь мне, но все же тоска и одиночество не оставляли меня. В моем письменном столе лежал заряженный браунинг (обратите внимание, читатель, на эту деталь и помните слова Антона Павловича: «Если в первом акте на сцене висит ружье, то в последнем...» – Ю.С.), и я с трудом боролся с соблазнительным желанием...»

Не менее года родители Ольги, уже носившей фамилию Чехова, демонстративно избегали общения с дочерью-сума-

сбродкой и, тем паче, с ее избранником из скоморошьего племени. Но стоило театральной критике перевести Чехова из безвестных лицедеев в разряд «самых многообещающих российских актеров», как высокомерие Книпперов сменилось милостью и смирением перед свершившимся против их воли фактом.

Своей очередной победой Михаил тут же похвалился перед хранительницей всех его душевных мук и переживаний, доброй «Машечкой»: «Твой гениальный племянник приветствует тебя и желает сказать, что принят он здесь, у Олиных родных, чудно... Сегодня Олины идут на «Сверчка». Стремлюсь домой к маме, и если бы мне не было так хорошо у Олиных родителей, то я давно погиб бы от тоски... В ожидании Вашего сиятельного ответа. Граф Михаил Чехов».

«Домой, к маме...» Именно Мишиной мамыши молодые опасались пуще огня. Наталья Александровна, освободившаяся от гнета Александра Павловича, успешно завладела сыном, его помыслами и поступками. Она сразу настояла, чтобы молодожены проживали вместе с ней. И хотя комнат в квартире было предостаточно, Ольга в каждой из них встречала ревность, злобу и ненависть, царящие «полумрак, тесноту, спертый воздух, брюзжащую больную мать с иссохшей, порабощенной няней».

Ко всему прочему Михаила неожиданно, ни с того ни с сего стала преследовать навязчивая мысль об опасности, которая угрожает его матери: «Увидев однажды, как горько и

тихо плакала она, сидя в своей полутемной спальне, я вдруг «увидел» ее в момент самоубийства и с тех пор стал следить за ней, чтобы успеть предотвратить несчастье».

Но что же наставники? Почтенные старцы молчали. За исключением Фрейда, который торжествующе усмехался...

Помимо упомянутых первой и второй, у Михаила существовала еще и третья жизнь, доставшаяся ему в наследство от отца. И по утрам ему меньше всего на свете хотелось отвечать на вопросы жены: где был? где пропадал? с кем? почему не позвонил? Ведь я ждала, нервничала, волновалась, заснуть не могла.

Ясно, нервничала... Ясно, ждала, заснуть не могла...

«Откуда у тебя столько равнодушия? Почему ты позволяешь себе то, что не позволил бы ни один любящий мужчина?» – «А ты что, знала много мужчин и научилась сравнивать?...»

От столь жестких обвинений у Ольги на глаза навертывались слезы, а голос подводила дрожь. Не переносящий подобных сцен Михаил сам терзался: почему он ведет себя как свинья? Но ответа не находил. Мозги не работали, и он не мог придумать что-нибудь вразумительное, логичное. Только что же сказать?

Вот он, трудный итог жизни: четверть века за плечами, а он даже врать складно не научился. Кажется, даже не повзрослел.

– А ты знаешь, что у нас будет ребенок?..

Вот те и на! Оказывается, да. Однажды тихий амур успел-таки задеть своим крылышком Ольгу, и ей, уже примерявшей на себя роль Нины Заречной, пришлось готовиться стать матерью. Все перепробованные народные средства – от обжигающих горчичных ванн и каких-то отвратительных травяных отваров до нелепых прыжков на пол со стола и высокой кухонной табуретки – желаемых результатов не приносили, все было впустую, выкидыша, увы, так и не случилось.

Новорожденная девочка доставила неописуемую радость разве что Ольге Леонардовне. Забыв все прежние обиды, она оповещала питерских родственников: «Наконец-то наши дети разродились. Ах, как мучительно было ждать и так близко ощущать, как Оля страдала. Часов 15 она кричала, выбилась из сил, сердце ослабело – тогда наложили щипцы и вытянули 10-фунтовую здоровую девочку. Мы уже решили, что губы Олины, нос Мишин, а раскрывающийся левый глазок – в меня. Миша с любопытством рассматривает незнакомку и говорит, что пока никакого чувства не рождается – конечно, пока...»

Девочку при крещении назвали традиционным семейным именем – Ольга, однако в семье все (за исключением родного отца) стали называть ее Адой.

Молодой папаша, обойденный вниманием и заботами, тут же внезапно занемог: стал жаловаться на обострение аппендицита, говорил о необходимости операции. А тут еще и вос-

палились гланды – ни дышать, ни говорить не было сил... Но, к счастью, обошлось.

Для Адочки мигом была найдена няня, m-me Лулу, которая забрала девочку к себе. Ведь мамочка все равно была настолько слаба и немощна, что кормить дитя не могла. Да и богемные привычки забыть было невозможно. Ко всему прочему Оля вскоре начала на правах вольнослушательницы усердно посещать утомительные занятия в школе-студии МХТ, а также наведываться на курсы в Училище живописи, ваяния и зодчества в мастерской самого Юона⁸.

Правда, «капсулке моей не особо приятно было сидеть в городе, – полагал внимательный супруг, – ибо она мечтала о набросках где-нибудь в полях, но что делать, надо было бы ей не выходить за меня...».

Несчастный Володя Чехов, уже как будто бы смилившийся с судьбой, попытался найти утешение в объятиях Олиной сестры Ады. Но напрасно, приступы ревности по-прежнему терзали его.

Безнадежно влюбленный юноша бросил свой юридический факультет и с тех пор с утра до ночи стал пропадать в театре, куда его пристроили (опять-таки благодаря фамилии) на какую-то должностишку, кем-то вроде статиста или декоратора. Ему было все равно, лишь бы иметь возможность ча-

⁸ Юон Константин Федорович (1875–1958) – пейзажист. Лауреат Сталинской премии, кавалер ордена Ленина. Нар. худ-к СССР, действительный член Академии художеств.

ще видеть Оленьку. Но она его по-прежнему не замечала.

Финал романтической истории оказался трагичен. Прямо в театре во время спектакля в Мишиной примерке и из его же браунинга (словно помня предостережение Антона Павловича) Володя Чехов застрелился.

Было заведено следствие. Хотя Миша в момент смертоубийства находился на сцене, свидетелями чему был и переполненный зрительный зал, и все актеры, с него все же взяли подписку о невыезде. А Оля еще долго потом обнаруживала в своей комнате в самых неожиданных местах тайные любовные записочки от Володи.

Очень может быть, тот роковой выстрел и заставил Ольгу принять окончательное решение: бежать отсюда, из Питера, из России. И как можно скорее. Но, прежде всего, от Михаила. Они развелись в декабре 1917 года.

Великую революцию, происшедшую в России, молодые даже не заметили, проворонили. Все проходило мимо, мимо, мимо...

Москва, 1918 год

...Было такое ощущение, что голова гораздо тяжелее всех прочих частей тела. Во всяком случае, кое-как встав с постели, он запнулся о ковер и едва не грохнулся на пол: чугунная башка тянула в сторону. А ведь еще надо доковылять до столика, на котором мать должна была оставить спасительную бутылочку сельтерской...

Сделав глоток-другой, Михаил горестно вздохнул: вот ведь черт, опять вчера надрался. Огляделся по сторонам. Слава богу, никто из вчерашних гостей на ночлег не остался. Даже той, которую он представил домашним как «добрую девушку с теннисного корта», не было. За-ме-ча-тель-но.

Заметив валяющиеся на полу скомканные листы бумаги, он заставил себя совершить очередной подвиг: наклониться и поднять их. Ба, знакомый текст. Надо же, уцелел. Наверняка вчера он пытался читать свой опус этим паршивым шлюшкам, которых после спектакля подхватил на выходе из театра.

«Вечер. После долгого дня, после множества впечатлений, переживаний, дел и слов вы даете отдых своим утомленным нервам. Вы садитесь, закрыв глаза или погасив в комнате свет. Что возникает из тьмы перед вашим внутренним взором? Лица людей, встреченных вами сегодня. Их голоса, их разговоры, поступки, движения, их характерные или смеш-

ные черты. Вы снова пробегаете улицы, минуете знакомые дома, читаете вывески... Вы пассивно следите за пестрыми образами воспоминаний проведенного дня.

Но вот незаметно для вас самих вы выходите за пределы минувшего дня, и в вашем воображении встают картины близкого или далекого прошлого. Ваши забытые, полузабытые желания, мечты, цели, удачи и неудачи встают перед вами. Правда, они не так точны, как образы воспоминаний сегодняшнего дня...»

«О, да...», – вздохнул Михаил.

«...они уже «подменены» кем-то, кто фантазировал над ними в то время, как вы «забыли» о них, но все же вы узнаете их. И вот среди всех видений прошлого и настоящего вы замечаете: то тут, то там проскальзывает образ, совсем незнакомый вам. Он исчезает и снова появляется, приводя с собой других незнакомцев. Они вступают во взаимоотношения друг с другом, разыгрывают перед вами сцены, вы следите за новыми для вас событиями, вас захватывают странные, неожиданные настроения. Незнакомые образы вовлекают вас в события их жизни, и вы уже активно начинаете принимать участие в их борьбе, дружбе, любви, счастье и несчастье. Воспоминания отошли на задний план – новые образы сильнее воспоминаний. Они заставляют вас плакать или смеяться, негодовать или радоваться с большей силой, чем простые воспоминания. Вы с волнением следите за этими откуда-то пришедшими, самостоятельной жизнью живущи-

ми образами, и целая гамма чувств пробуждается в вашей душе. Вы сами становитесь одним из них, ваше утомление прошло, сон отлетел...»

Сон и впрямь отлетел.

Михаил Александрович, меланхолически прочитав свои же собственные строки, как молитву, чуть-чуть приободрился, встал и даже попробовал сделать некоторое подобие комплекса упражнений йоги. Впрочем, его хватило не более чем на два-три приседания и бездарную попытку изобразить позу «лотоса». Получился какой-то скукоженный эмбрион. Потом он подошел к огромному настенному зеркалу, скептически оглядел себя с головы до пят и хмыкнул:

«М-да, выдающийся актер, премьер, надежда русского театра... Хлюпик... От горшка два вершка... Красавец? Даже Лешка Дикий по сравнению со мной – Качалов... И еще от шепелявости все никак не могу избавиться... За что меня только бабы любят?.. Ума не приложу... А ведь дядюшка говорил, что в человеке все должно быть прекрасно... Ошибался, выходит, Антон Палыч... А вот отец был прав, когда твердил мне: «Тонок, как глиста, жидок, как сопля». Эх...»

Он вернулся к столу, отыскал более-менее чистую рюмку и налил водки до краев. Немного посомневался, но все-таки выпил: черт с ним, на занятия в студию все равно еще рано. Тем более, как утверждают сведущие люди, свежий запах гораздо лучше вчерашнего перегара.

Ну-с, и где же наша Ольга?.. Ах, да. Ушли-с...

В последнее время он все больше боялся толпы, старался без особой нужды не выходить на улицу, его постоянно преследовали какие-то невнятные шумы, посторонние голоса, которых никто другой не слышал. Другьям жаловался: «Я стал различать, правда еще слабо, как бы отдаленные стоны, плач и крики страдающих от боли людей и животных...»

Чехов по желанию мог «слышать» на любом расстоянии – сидя в кабинете, он «ходил» (вернее, метался) по московским улицам, площадям и переулкам. Или мог неожиданно уйти с репетиции, а то и со спектакля. Как-то в антракте подошел к окну, увидел на площади толпу солдат, чему-то напугался и, как был, прямо в гриме и театральном костюме, убежал домой.

Полным конфузом стал срыв последней репетиции «Чайки». После самоубийства Володи ему было страшно играть этого неврастеника Костю Треплева. А предсмертное признание чеховского героя: «Молодость мою вдруг как оторвало, и мне кажется, что я уже прожил на свете девяносто лет» – в устах Михаила звучало так исповедально, что пробравшиеся на репетицию травестиюшки плакали.

После своего последнего постыдного бегства Михаил написал пространную эпистолу и отослал в театр на имя Станиславского с пометкой на конверте: «Очень прошу Константина Сергеевича прочесть письмо лично».

Станиславский вскрыл конверт поздним вечером, уже после спектакля, когда в театре почти никого, кроме дежур-

ных и сторожей, не оставалось. Он, конечно, предполагал, что письмо будет слезливым и просительно-извиняющимся, но столь откровенных признаний, буквального самообнажения от Михаила Константин Сергеевич просто не ожидал.

«...Приблизительно года 2S я страдаю неврастенией в довольно тяжелой форме (по выражению врачей), за последнее время дело ухудшилось настолько, что, по мнению врача, «болезнь прогрессирует и при неблагоприятных условиях грозит рассудку». Это было для меня неожиданностью. Проявляется мое состояние в том, что я постоянно волнуюсь, испытываю страх, как днем, так и ночью (во сне), и болевые ощущения в области сердца и прочее. До сих пор я успешно боролся с собой и успешно скрывал все это от студийцев и вообще нейтральных лиц.

В последнее же время многие узнали об этом и, в большинстве случаев, приняли грубо и насмешливо, что делает совсем невыносимым присутствие среди них. Раз уж обнаружилось то, что я старался до сих пор скрыть, то я хочу, чтобы прежде всего узнали об этом Вы, и узнали от меня самого.

Пишу я Вам это, во-первых, в виде оправдания и объяснения мною ухода с репетиции, а во-вторых, ради избавления себя от лживых и шуточных рассказов на мой счет, которые Вы можете услышать. Прошу Вас, Константин Сергеевич, не подумать, что я ради оправдания преувеличиваю что-нибудь в своей болезни. Все, что я написал, и, может быть, даже больше того, Вам смогут рассказать жена моя и док-

тор. В течение всего времени болезни я прилагал и прилагаю много усилий в борьбе с собой, и всегда достигаю хороших успехов в этом смысле...»

Хотя при чем тут жена? Нет же ее, нетути...

На следующий день Станиславский снарядил консилиум врачей на квартиру Чеховых, а затем приехал сам.

– Не печальтесь, Михаил Александрович, – подбадривал своего ведущего актера Константин Сергеевич. – Кстати, ваш дядюшка сам не отличался особой дисциплинированностью. В театре ему всегда отравляла душу необходимость выходить на вызовы публики и принимать овации. Бывало, перед финальной сценой он неожиданно исчезал, и тогда мне приходилось выходить на сцену и объявлять, что автора в театре нет, но ваша благодарность, господа, ему будет всене-пременно передана. Может, – насмешливо спрашивал Константин Сергеевич, – это у вас фамильное, а?..

Михаил молчал, а Станиславскому не хотелось далее тер-зать больного лишними расспросами, погружаться в личные обстоятельства; он и без того знал, что главной причиной нервного срыва Чехова стало его расставание с женой, лишение какой-то более-менее устойчивой опоры в жизни.

Сам Михаил Александрович ничуть не винил Ольгу – он, безусловно, был грешен, распустился до крайности. Как и ранее бывало, перегрузившись чрез меры, почище батеньки покойного, царство ему небесное, заявлялся домой с легко-мысленными девицами и, запершись в кабинете, развлекал-

ся с ними. С визгами, песнями, плясками, прочими милыми шалостями и безумствами. Какое женское сердце это выдержит?.. Хотя, вообще, эта его скоропалительная женитьба, нелепое венчание... Правы, получается, были и тетушка, и матушка, и даже няня.

Он наотрез отказывался признать, что главная партия в окончательном разрыве с Оленькой принадлежала именно его матери, Наталье Александровне. Зато это прекрасно понимали те, кто знал, кто искренне любил и жалел горемычного Мишку. «Миша Чехов разошелся со своей женой, что не так неожиданно, конечно, как может показаться на первый взгляд, но, тем не менее, удивительно, – писал в своем дневнике его близкий друг по студии Валентин Смышляев. – Миша очень любил Ольгу Константиновну, а она – его. Вероятно, и тут сыграла некрасивую роль Мишкина мать – эгоистичная, присосавшаяся со своей деспотичной любовью к сыну... Бедный Миша, вся жизнь его последних лет протекала в каком-то кошмаре. Накуренные, непроветренные комнаты, сидение до двух-трех часов ночи (а то и до 9 утра) за картами. Какая-то сумасшедшая нежность старухи и молодого человека, ставшего стариком и пессимистом».

...Когда Михаил запер дверь за Станиславским, он с досадой вспомнил, что забыл сказать Учителю нечто очень важное. Даже отчаянно грохнул кулаком о стену: вот черт!

В свое время он ходатайствовал перед своим учителем и режиссером о том, чтобы позволить одному достойному мо-

лодому писателю и режиссеру Фридриху Яроши присутствовать на репетициях, дабы изнутри «изучать театральный духовный механизм».

Каким же он был идиотом! Ведь это был тот самый Фридрих, с которым в свое время знакомила его Ольга. Изящный, красивый, обаятельный и талантливый человек, вспоминал ненавистную рожу соперника Михаил. Этот Яроши безошибочно достигал своих целей, даже если эти цели были темны и аморальны... Он сам рассказывал, что силы своей над людьми достигает путем ненависти. Был совершенно уверен, что его не могут убить. Когда на улицах Москвы еще шли бои, когда неподалеку от их дома артиллерия расстреливала здание, в котором засели юнкера, когда свистели пули днем и ночью, а стекла в окнах были выбиты и их закладывали подушками, этот герой-авантюрист свободно ходил по улицам, ежедневно навещал чеховский дом, был весел и очарователен. Как он говорил? «Если ты умеешь презирать жизнь до конца, она вне опасности».

А теперь Ольга вместе с полугодовалой дочерью отправилась к этому прощелыге. Уходя из дома, она, уже одетая, подошла к своему вчерашнему супругу, целомудренно, подружески, поцеловала в щеку и сказала:

– Какой же ты некрасивый, Миша. Ну, прощай. Скоро забудешь.

А он, пьяный дурак, еще бросил ей вслед: «Уходишь, бросаешь меня? А фамилию Чеховых все-таки себе оставляешь,

да?.. Хочешь разделить со мной мою славу, да?..» Она остановилась, обернулась, с грустью посмотрела на него и, не обронив больше ни слова, ушла...

И вот теперь, проводив Станиславского, Михаил все еще оставался у двери в пустом коридоре. Вспоминал Ольгу и горько плакал. Потом собрался с силами, кое-как добрал до своей комнаты, запер дверь на ключ и выпил водки. Посидел немного, приходя в себя. Что-то решив, вернулся в коридор и, дотянувшись до телефонного аппарата, позвонил новой пассии, доброй Ксюшеньке Зиллер, той самой «девушке с корта»:

– Ксень, приезжай. Я подарю тебе своего любимого медвежонка.

И замурылкал себе под нос распространенную той осенью песенку. Кажется, Вадька Шершеневич ее сочинил:

А мне бы только любви вот столечко,
Без истерик, без клятв, без тревог,
Чтоб мог как-то просто какую-то Олечку
Обсосать с головы и до ног...

Москва, начало XX века

– Ну, как вам пишется, маркиз? – Чехов мягко улыбнулся своему собеседнику.

– Плохо. По правде говоря, в последнее время даже очень трудно. Иногда просто охватывает ужас, кажется, все сюжеты уже исчерпаны, – пожаловался Бунин.

– Исперчены, – переиначил Антон Павлович. Помолчал, а потом заметил: – А вот тут, сударь, я с вами решительно не соглашусь. Сюжеты, да они кругом веером рассыпаны, просто под ногами валяются. Потрудитесь, наклонитесь, поднимите с земли, а где что слышали – запишите.

Он достал из письменного стола записную книжку и поднял ее над головой:

– Вот здесь ровно сто сюжетов! Да-а, милсдарь! Не вам, молодым, чета! Работники! Хотите, парочку продам?!. Недорого...

Чехов отодвинул кресло, неспешно прошелся по кабинету и, мягко улыбаясь, посоветовал Бунину:

– Вы газеты почаще читайте, Иван Алексеевич. В провинциальной хронике море сюжетов для драм и фельетонов! Вот послушайте только, что я сегодня в «Московском листке» выискал. – Антон Павлович взял газету со стола, нахмурил брови и без тени улыбки прочитал: – «Самарский купец Бабкин завещал все свое состояние на памятник Гегелю...» Ка-

ково?..

И, не сдержавшись, заразительно, во весь голос захохотал так, что даже пенсне с переносицы свалилось, едва успел подхватить на лету.

– Вы шутите, Антон Павлович?

– Помилуйте, ей-богу, нет!.. Бабкин – Гегелю!..

Теперь они смеялись уже вдвоем. До слез, до колик в животе. Обычно сдержанный, кажущийся чопорным Бунин от хохота безудержно икал и беспомощно сползал с кресла на ковер.

Именно в таком положении их застала Ольга Леонардовна. Иван Алексеевич тотчас собрался, встал, поклонился хозяйке, пахнувшей вином и духами, поцеловал ее тонкую руку. Антон Павлович с улыбкой приобнял жену и прикоснулся губами ко лбу.

Настенные часы глухо пробили четыре раза. «Ого! – изумился Бунин. – Засиделись до утра».

– Что же ты не спишь, дуся? – ласково, по-домашнему, упрекнула мужа Ольга Леонардовна. – Тебе же вредно. Спасибо вам, Букишончик. – Она обернулась к Ивану Алексеевичу. – А мы вот, – она устало вздохнула, – после спектакля с Москвиным и Качаловым ездили слушать цыган к «Яру», потом бродили по ночному лесу... Так хорошо было, покойно, тихо...

– Мне пора, пожалуй. – Бунин встал. Недавнее легкомысленное настроение уже растаяло в нем.

– Приезжайте завтра, Иван Алексеевич, – обратился к нему Чехов. – А то ведь я скоро отбываю в Крым, когда еще увидимся? Поговорим с вами о Гегеле...

На улице Бунин окликнул дремавшего неподалеку извозчика. Пока ехал в пролетке, вновь думал о Чехове и его избраннице. Все же он терпеть не мог эту женщину. Безнравственно оставлять мужа куковать в одиночестве в Ялте, а самой пребывать в Москве в окружении поклонников, почитая себя примой, любимицей публики... «Яр», цыгане, прогулки по ночному лесу... Бунин из брезгливости старался избегать светских сплетен, но тем не менее кое-какие слухи о романах Книппер до него долетали. И о премьере Качалове, и о Немировиче, и о... Да Бог ей судия.

Тебе выпало счастье быть рядом с талантом, гением, а ты... Говорят, эта безмозглая немка то ли в шутку, то ли всерьез предлагала Антону Павловичу, изнывавшему от тоски и своей неизлечимой болезни в Аутке, выставить перед «Белой дачей», их домом (она именно так и полагала: их дом) декорацию – намалеванные на театральном заднике виды Москвы: «Какое место ты пожелаешь, дуся, видеть из своего окна?... Может быть, Сретенку?... Или Остоженку?... А может, Охотный ряд?..»

Бунинские прогнозы относительно неминуемых конфликтов между Ольгой Леонардовной и Марией Павловной роковым образом начали сбываться уже через несколько месяцев после памятного венчания. Антон Павлович в нача-

ле сентября обращался к жене: «То, что ты пишешь о своей ревности, быть может, и основательно, но ты такая умница, сердце у тебя такое хорошее, что все это, что ты пишешь о своей якобы ревности, как-то не вяжется с твоей личностью. Ты пишешь, что Маша никогда не привыкнет к тебе, и проч., и проч. Какой все это вздор! Ты все преувеличиваешь, думаешь глупости, и я боюсь, что, чего доброго, ты будешь ссориться с Машей. Я тебе вот что скажу: потерпи и помолчи только один год, только один год, и потом для тебя все станет ясно. Что бы тебе ни говорили, что бы тебе ни казалось, ты молчи и молчи. Для тех, кто женился и вышел замуж, в этом непротивлении в первое время скрываются все удобства жизни...

Еще немножко – и мы увидимся. Пиши, пиши, дуся, пиши! Кроме тебя, я уже никого не буду любить, ни одной женщины. Будь здорова и весела!

Твой муж Антон».

Но, как назло, Бунин хорошо помнил одно из чеховских парадоксальных утверждений: «Противиться злу нельзя, а противиться добру можно». Шутил ли Антон Павлович или с горечью настаивал?..

Москва, 1918 год

Мне еще нет тридцати, я молод... но я уже столько вынес! Как зима, так я голоден, болен, встревожен, беден, как нищий, – и куда только судьба не гоняла меня, где я только не был! И все же душа моя всегда, во всякую минуту, и днем и ночью, была полна неизъяснимых предчувствий. Я предчувствую счастье... я уже вижу его...
А.П. Чехов. Вишневый сад

Константин Сергеевич Станиславский, с почтением относясь к медицине и рекомендациям докторов, все же больше доверял своей рецептуре. Михаилу Чехову подыскивали новую роль, чтобы занять работой, прибавили жалованье. В записке по поводу прибавки Станиславский подчеркнул: «Одна из настоящих надежд будущего. Надо прибавить, чтобы поощрить. Необходимо подбодрение. Упал духом».

Потом он предоставил Михаилу полугодовой отпуск. Правда, затянувшийся почти на год. Однако и это мало помогло. Чехова по-прежнему не оставляли необъяснимые страхи, предчувствие неизбежной катастрофы, даже мысли о самоубийстве. В конце концов Михаил Александрович вынужден был покинуть Художественный театр. Он воспринял увольнение как катастрофу. Ведь именно здесь, на этой сцене, он жил, сыграл свои лучшие роли – Хлестакова, Мальво-

лио... И вот теперь – все прахом.

Оказавшемуся у разбитого корыта Михаилу один из немногих оставшихся друзей посоветовал открыть частную театральную студию, набрать учеников. Какой-никакой, а заработок. Да какой там заработок, о чем ты? По три рубля в месяц с носа? А заниматься где, на улице? Ерунда, в твоей же квартире, в Газетном переулке, места хватит.

Поначалу Михаила одолевали болезненные сомнения: ну какой же из меня, помилуйте, учитель, педагог? Да это же просто смешно. Но... «С первой же встречи со своими учениками, – вспоминал он, – я почувствовал к ним нежность... Меня охватило то изумительное чувство, которое я утратил в последнее время».

Разумеется, поначалу он даже для себя не мог толком уяснить, как можно обучить человека театральному, актерскому мастерству, если он или она изначально не предрасположены к сцене, от рождения не наделены даром перевоплощения, лицедейства. Ведь невозможно же обучить кого угодно сочинять музыку, стихи или писать картины. Какая чушь!

Но придумал свою методику: разыгрывал со студийцами бесчисленные этюды, а потом разбираал их по косточкам. Он преподавал им не систему Станиславского, а то, что сам перенял и от Константина Сергеевича, и от своего ближайшего друга, соученика и партнера Евгения Вахтангова⁹: «Я нико-

⁹ Вахтангов Евгений Багратионович (1883–1922) – советский актер, театральный режиссер, основатель студии МХТ, с 1926 г. – Театра им. Вахтангова.

гда не позволю себе сказать, что я преподавал систему Станиславского. Это было бы слишком смелым утверждением. Все преломлялось через мое индивидуальное восприятие, и все окрашивалось моим личным отношением к воспринятому...»

Система Станиславского как бы росла могучим деревом, на котором техника Чехова представлялась диковатой ветвью.

Начинающий педагог терпеливо внушал своим ученикам: «Если бы современный актер захотел выразить старым мастерам свои сомнения по поводу их веры в самостоятельность существования творческих образов, они ответили бы ему: «Ты заблуждаешься, предполагая, что можешь творить исключительно из самого себя. Твой матерьялистический век привел тебя даже к мысли, что твое творчество есть продукт мозговой деятельности. Ее ты называешь вдохновением! Куда ведет оно тебя? Наше вдохновение вело нас за пределы чувственного мира. Оно выводило нас из узких рамок личного. Ты сосредоточен на самом себе. Ты копируешь свои собственные эмоции и с фотографической точностью изображаешь факты окружающей тебя жизни. Мы, следуя за нашими образами, проникали в сферы, для нас новые, нам до толе неизвестные. Творя, мы познавали!»

Одну из наиболее талантливых воспитанниц Чехова Марию Кнебель при встрече с мастером удивили его пронзительные глаза, «куда-то устремленные, ни на кого не смотря-

щие и точно ждущие какого-то ответа. Меня так тогда поразили эти светлые глаза, полные боли и одиночества, и какого-то немого вопроса, что я совсем забыла о себе».

Примерно то же происходило с другими. Студийцы работали вдохновенно, азартно, одержимо. Они боготворили своего педагога. А он в свою очередь под воздействием их энергии, задора, теплоты и скрытой влюбленности сам постепенно возвращался к жизни, обретая второе дыхание.

Чехов создавал свой мир, изображая, показывая тех, кого любил, своим студентам. И от них требовал, чтобы они сочиняли своих «человечков». «Мы видели созданных им самых разных людей, – рассказывала прилежная Маша Кнебель, – высоких, низкорослых, толстых, худых, умных, глупых, трезвых, пьяных, глухих, немых, говорливых, несущих чепуху с умным видом, тупо молчащих, пустых, перенасыщенных чувствами. Эти мгновенно возникающие «человечки» действовали, общались с нами, молниеносно отвечали на любой вопрос. Мы не уставали от этой замечательной игры. И такой юмор освещал этих возникающих, как в сказке, людей, что мы смеялись до слез... На сцене Чехов умел возбуждать такой смех в зрительном зале, какого мне потом уже не приходилось слышать. Он был творцом смеха, он вызывал с зале массовую зрительскую радость».

В Газетном они жили дружно, одной семьей. После занятий варили пшеничную кашу. В холода ходили на станцию разгружать вагоны, а домой возвращались с обледеневшими

балками и шпалами, чтобы потом во дворе распилить их на дрова. Время от времени Чехов вместе со своими ученицами – Гиацинтовой и Пыжовой – выступал перед публикой с водевилем «Спичка между двух огней»; порой племянника выручал сам Антон Павлович – за чтение его рассказов Михаилу выдавали фунт-другой муки или пшена. Писатель Чехов настойчиво подсказывал немного растерявшемуся актеру Чехову, что необходимо и возможно вырваться из всей этой сложной паутины жизни, чтобы жить достойно.

Все прежние страхи, сомнения и неуверенность в себе постепенно отступили. Во МХТ Михаила Чехова встретили как заблудшего, но любимого сына. Вместе со Станиславским он возродил своего Хлестакова, живо откликнулся на предложение Евгения Вахтангова и начал репетировать в Первой студии Эрика XIV в одноименной пьесе Юхана Стриндберга, а следом и Фрезера в «Потопе»...

Но душевные терзания и беспокойства Чехова пребывали лишь в полусне и, очнувшись от дремы, проявляли себя с самой неожиданной стороны. Однажды он едва не подвел постановщика «Потопа» Вахтангова. На генеральной репетиции Михаил оробел настолько, что отказался выйти на сцену. Он был смертельно бледен, у него тряслись руки. «Женя, не сердись, я не знаю, как играть Фрезера», – с ужасом повторял актер. Евгений Багратионович, кипя от ярости, схватил его за плечи, силой развернул лицом к сцене и буквально вытолкнул его из-за кулис. К его удивлению, Чехов-Фре-

зер тут же бойко стал произносить реплики, но почему-то с еврейским акцентом. «Откуда вдруг акцент? – спросил Вахтангов в антракте, перекрестившись, что этот кошмар закончился. – Ведь его же не было на репетициях...» – «Я не знаю, Женечка», – ответил ему спокойный и счастливый Чехов. А Станиславский уверенно объяснял: «Это подсознание».

Вероятно, режиссер знал, о чем говорил. Когда Чехов неожиданно начал заикаться до неприличия, он пришел к учителю и признался, что играть, по всей вероятности, не сможет. Интуитивно разбираясь в особенностях психофизики своего ученика, Константин Сергеевич покинул свой «трон», подошел к окну и зловещим голосом не то пифии, не то заклинателя произнес магические слова: «В тот момент, когда я открою створки, вы перестанете заикаться». И – чудо свершилось.

Хотя Константин Сергеевич и Чехов являлись людьми разной культуры, но все же были «одной крови»: они не требовали следовать за ними, а помогали другим искать путь к самому себе.

Как-то после одной из неудачных репетиций с Серафимой Бирман расстроенный Чехов записал на случайном клочке бумаги: «Однотонность, белокровие, бескрасочность... Все происходит потому, что слишком боятся штампов, лжи. Надо делать иначе. Надо переходить границы правды, познавать перейденное расстояние, по нему узнавать, где граница. А узнав – жонглировать и гулять свободно в области прав-

ды».

В «свободной прогулке» он попытался поставить в тупик свою воспитанницу и поинтересовался: «Сима, а что ты вообще думаешь обо мне?» Бирман была девушкой отчаянной, бескомпромиссной, а потому без промедлений и сомнений ответила: «Ты, Миша, – лужа, в которую улыбнулся Бог».

Не язва ли?..

Самыми истовыми поклонниками работ Чехова, естественно, были студийцы. «Игру Чехова помню до мельчайших деталей, и воздействие его на зрителей считаю чудом, ради которого, может быть, и существует театр, – рассказывала все та же Мария Кнебель. – Отделить полностью Чехов-актера от Чехова-педагога, его игру на сцене от его уроков в студии мне трудно. Он был прежде всего художником...»

Серафима Бирман повторяла в унисон: «Чехов был художником, во всяком случае, в гриме своих ролей. Знал душу своего героя и в гриме искал и находил ее выявление».

Москва – Берлин, 1921 год

Воодушевленный своим новым назначением, ответственный сотрудник КРО – контрразведывательного отдела ОГПУ – Артур Христианович Артузов¹⁰ решил самолично просматривать списки лиц, которые подавали заявления с просьбой о разрешении выезда на постоянное место жительства за границу. Увидев в очередном из них имя Ольги Константиновны Чеховой, ходатайствующей о выезде в Германию для «получения образования в области кинематографии», он поставил напротив фамилии актрисы «галочку» красным карандашом, что во внутреннем обиходе означало необходимость личной встречи.

Официальному приглашению в Наркомат иностранных дела Ольга Константиновна ничуть не удивилась.

Встретивший ее в обозначенном кабинете молодой человек в полувоенном френче ей понравился. Невысокий крепыш лет тридцати. Крупная голова на сильной шее, широкий лоб. Темные пышные волосы, правда, уже с проседью. Коротко стриженные усы, бородка клинышком. При появлении посетительницы встал, представился Григорием Христофоровичем и даже почтительно прикоснулся губами к ее руке

¹⁰ Артузов (Фраучи) Артур Христианович (1891–1937) – окончил Петроградский политехнический институт. В ВЧК с 1919 г. Расстрелян. В 1956 г. реабилитирован.

в перчатке.

– Я ваш поклонник, Ольга Константиновна. Присаживайтесь, пожалуйста. Не хотите ли чаю?

– Нет, спасибо большое. Я только что пила кофе.

– Вот и славно, а то ведь чай у меня без сахара. Терпеть не могу сладкого.

– Григорий Христофорович, если возможно, давайте ближе к делу. Вы о чем-то хотели со мной поговорить. Вероятно, о моем заявлении?

– Совершенно верно, Ольга Константиновна. Вы пишете, что хотели бы отправиться в Германию для получения образования в области кинематографии. А что, там действительно снимают такое замечательное кино?

– Да, одно из лучших в мире. Там создана блестящая школа, одна из лучших в Европе. Там есть чему поучиться. И Анатолий Васильевич тоже так считает.

– Кто-кто? – заинтересовался «Григорий Христофорович».

– Луначарский.

– Ах, ну да, – улыбнулся хозяин кабинета. – Я видел ходатайство Наркомпроса по вашему вопросу. – И неожиданно спросил по-немецки:

– Sprehen Sie Deutch?

Ольга внимательно посмотрела на своего визави и, с трудом подбирая слова, с чудовищным акцентом попыталась ответить тоже по-немецки:

– Конечно. Ведь это мой второй язык. В семье мы разговаривали и по-русски, и по-немецки, и по-французски, кстати, тоже. Но это все так, на бытовом уровне, в Германии я надеюсь максимально совершенствовать свой немецкий. От этого зависит моя карьера. А вы тоже говорите по-немецки?

– Jawohl, mein Frau! Ведь это – часть моей работы.

– Браво.

– Ольга Константиновна, насколько мне известно, представителям нашей отечественной культуры, прежде всего сценического искусства, довольно непросто добиться признания на Западе... Все-таки музыка или живопись – более интернациональны, не нуждаются в переводе...

– Я не согласна с вами, – тут же возразила Ольга. – А разве пример Василия Ивановича Качалова малоубедителен? Он и его труппа уже третий год работают и в европейских странах, и в Америке. И, судя по газетным публикациям, их гастрольное турне проходит более чем успешно...

– Знаете, мне не хотелось бы вам напоминать, что Качаловские актеры бежали в Европу вместе с белыми, – любезный тон «Григория Христофоровича» немного изменился, – и там пользуются их немалым покровительством и финансовой поддержкой. Но речь не о Качалове... Кстати, желание выехать в Германию исключительно ваше, Ольга Константиновна, или вашего мужа, Фридриха Яроши?

– Обоюдное, – отрезала Чехова.

Ее собеседник встал и легким шагом прошелся по каби-

нету. Чехова как актриса оценила его пластику.

– Вы разлюбили театр, Ольга Константиновна? Ведь Художественный театр – это наше национальное достояние. Со временем вы могли бы стать его украшением...

– Если бы там, как и раньше, ставили Чехова, Толстого, Горького, зарубежную классику, – то да. А сегодняшние спектакли, на мой взгляд, просто балаган, шутовство и плебейство. К тому же театр, к сожалению, стремительно стареет. Будущее только за кинематографом. Я не хочу упустить свой шанс стать киноактрисой. А за комплимент – спасибо...

– Я вас прекрасно понимаю, Ольга Константиновна, вы молоды, полны сил, энергии, амбициозных планов, хотите поскорее добиться признания. Со своей стороны обещаю сделать все, чтобы ускорить оформление ваших документов. Хотя и понимаю, что совершаю преступление.

– Какое же?

– Лишаю отечественных театралов вашего искусства.

– Еще раз благодарю за добрые слова, Григорий Христович.

– Ну что ж, будем считать вас моим человеком в Берлине. В связи с этим у меня к вам, очаровательная фрау Ольга, одна маленькая просьба. Мои коллеги, друзья время от времени по делам бывают в Германии. Не сочтите за труд оказывать им иногда, по возможности, какие-нибудь маленькие, может быть, чисто бытовые услуги. Согласны?.. А чтобы не возникало недоразумений, нам с вами нужно условиться о

каком-нибудь знаке или, если хотите, только нашем с вами пароле, чтобы вы сразу могли отличить: от меня этот человек или просто какой-то прохвост, аферист.

– Конечно, согласна. А какой должен быть пароль?

– Да какой угодно. Набор бессмысленных слов, понятных только мне и вам. Ну, например... «Я – человек, который не любит ночевать в тростнике, так как боится комаров». По-русски. Устраивает?

– Отлично! – засмеялась Ольга.

Галантно целуя на прощание руку Чеховой, «Григорий Христофорович» доверительно, вполголоса проговорил:

– Позвольте один совет, Ольга Константиновна. Сторонитесь (для вашего же блага) близкого общения с эмигрантскими кругами. Я не имею в виду людей заблудших, несчастных, в силу тех или иных обстоятельств оказавшихся на Западе, а тех, кто строит планы своего победоносного возвращения в Россию. Они, поверьте, люди злобные, подлые и способные на все. Подальше держитесь от них, Ольга Константиновна, подальше. Ваше призвание – искусство...

* * *

«Григорий Христофорович» оказался человеком слова. Буквально через неделю-полторы Ольга со своим новым супругом Яроши получили разрешение на выезд в Германию. Взять с собой дочь, маму и сестру власти не позволили. «Это

временная мера, не волнуйтесь понапрасну, Ольга Константиновна, – заверил ее Артузов, когда она в отчаянии вновь обратилась к нему. – Все образуется, вот увидите».

«Временная мера... временная мера... временная мера...» – эти слова молоточками отбивали дробь в ее голове в такт перестуку колес.

– Ольга, успокойся, – пытался утешить зареванную жену Фридрих. – Твоих просто решили оставить в качестве заложников. Они будут наблюдать, как ты будешь вести себя там, на Западе. Обычная практика...

Он помолчал, погладил ее по плечу и вновь начал нашептывать: «Не волнуйся, все образуется...» Ольга резко подняла голову и досадливо взглянула на него: он что, спелся с этим Григорием Христофоровичем? Ведь бубнит те же слова, как попугай...

Сил терпеть рядом с собой этого бывшего пленного австро-венгерских войск, красавца, выдававшего себя то за продюсера, то за литератора, у нее хватило только до Берлина. Все-таки дальняя, изнурительная дорога в неизвестность, а этот... персонаж как-никак мужчина. Перед конечной остановкой они холодно распрощались, и Фридрих Яроши исчез. Навсегда и в никуда.

А Ольга осталась одна в совсем чужом большом городе. Кое-как выбралась из вагона. На привокзальной площади растерялась, в первое мгновение ей показалось: вся огромная серая масса сосредоточенных, замкнутых в себе,

неулыбчивых людей движется навстречу ей, абсолютно не видя ее.

Однако первым же человеком, к кому она обратилась – разве не добрый знак?! – оказался русский эмигрант, бывший преподаватель гимназии из Подольска. Интеллигентно приподняв потрепанную шляпу, он поинтересовался, чем может помочь землячке. Уяснив суть проблемы, толково объяснил, как добраться до Гроссбееренштрассе, где находились довольно недорогие и более-менее сносные меблированные пансионы.

– Вас проводить, мадам? Что, кстати, у вас с голосом, простыли?

– Спасибо, – одними глазами улыбнулась Ольга. – Я здорова, все в порядке, так, зубы слегка...

– Мой друг доктор Красовский – весьма приличный зубной техник, у него здесь обширная практика. Он сможет вам помочь. Мы тоже живем в этом квартале, на Гроссбееренштрассе. Нас, русских, здесь целая колония...

– Спасибо. Вы и так мне очень помогли. – Ольге не терпелось поскорее избавиться от чересчур назойливого помощника. – Я пойду, пожалуй. Устала с дороги смертельно.

– Конечно, конечно. Заходите на огонек, найдем чем угостить, развеем грусть-тоску! – совсем уж по-московски, хлебосольно пригласил «добрый ангел». Но добавил по-немецки: – Ауфвидерзеен, майне кляйн!

Хозяйка пансиона оказалась дамой словоохотливой и го-

степриимной. Еще бы: заполучить новую жилочку в нынешние времена не так-то просто. Она проводила свою гостью на второй этаж, открыла дверь комнаты в конце пустынного, темного коридора:

– Это ваши апартаменты, располагайтесь, фройляйн... Ольга?.. Можно я буду вас называть просто Олли?.. А где ваши вещи?.. На вокзале?.. У вас зубы болят? Да-да, вижу, щека чуть припухла... У меня есть очень хороший стоматолог, он живет совсем рядом, на соседней улице... Могу проводить...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.